



Е. Э. ДРИЯНСКИЙ



ЗАПИСКИ
МЕЛКОТРАВЧАТОГО



« С О В Е Т С К А Я Р О С С И Я »



Егор Эдуардович Дриянский

Записки мелкотравчатого

(Всё о собаках)

Люди, земля, небо, звери и птицы — вот основная тема «Записок мелкотравчатого» Е.Э. Дриянского — писателя, чьи «произведения во всякой, даже богатой литературе были бы на виду», по словам А.И. Островского.

Эта книга о псовой охоте написана необыкновенно ярким и богатым языком, с глубокой любовью к родной природе, с умением увидеть человека во всей полноте его взаимоотношений с миром обитателей леса и степи, с достоверным знанием русского быта.

Содержание

#1	0006
Предисловие	0006
Записки мелкотравчатого	0048
I	0048
II	0093
III	0135
IV	0175
V	0197
VI	0244
VII	0263
VIII	0338
IX	0361
X	0394
Примечания	0411

Е.Э. Дриянский
Записки мелкотравчатого



Предисловие

Об этом писателе мало что известно. Кажется, ни к какому другому автору в истории русской литературы XIX века так не подходит определение «забытый», но применительно к Дриянскому оно наполняется каким-то особым смыслом. Ведь, похоже, сама судьба распорядилась, чтобы скудные и почти всегда безрадостные сведения о его жизни отступали на второй план перед тем удивительным миром, который открываешь в его книгах. И наверное, совсем не случайно именно в наше время, когда человек, словно спохватившись, вновь и вновь пытается осмыслить свои взаимоотношения с природой, написанные более ста лет тому назад произведения Егора Эдуардовича Дриянского с их основной темой: люди, земля, небо, звери и птицы — возвращаются к читателю, становятся необходимыми в его движении в будущее.

Е.Э. Дриянский был автором одного романа, написал что-то около десяти повестей, рассказов и очерков, две пьесы. С 1851 по 1872 год он сотрудничал почти во всех крупных

русских журналах. Где-то начиная с середины 60-х годов писатель стал задумываться и об итогах своей творческой деятельности. «Видите ли, — писал он С.В. Максимову в ноябре 1865 года, — еще в третьем году покойник Аполлон Григорьев адресовался ко мне с предложением от Стелловского (Ф.Т., известного книгоиздателя. — В.Г.) насчет полного собрания моих вещей... Всех вещей будет до пятнадцати, и со всем наберется листов вблизи ста...»[1]

Но не прошло и десяти лет, как итоги пришлось подводить уже его друзьям. «Милый Миша, — писал Александр Николаевич Островский брату 4 декабря, 1872 года, — Егор Эдуардович Дрянский при последнем издании: нужда, сырые квартиры сломили его железное здоровье и довели до лютой чахотки. В темном углу, за Пресней, без куса хлеба, без копейки денег умирает автор «Одарки Квочки», «Квартета», «Туза», «Паныча», «Конфетки» и пр., таких произведений, которые во всякой, даже богатой литературе были бы на виду, а у нас прошли незамеченными и не доставили творцу-художнику ничего, кроме го-

ря. Теперь уж поздно бранить его за непрактичность, за хохлацкое упрямство, за неумение показать товар лицом; теперь надо помочь ему. Сделай милость, напиши кому-нибудь из членов Литературного фонда, чтобы поспешили помощью несчастному Дриянскому (формальности на этот раз можно и обойти)...»[2]

Письмо Островского было доложено на 32-м заседании комитета Литературного фонда, и 18 декабря нуждающемуся писателю выделили 100 рублей. «Чтобы понять, как вовремя и к месту была эта помощь, — благодарил Островский казначея Литфонда, — надо было видеть, как крестился Дриянский, принимая деньги»[3].

Той зимой московские газеты сообщали о постановке в Малом театре новой комедии Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын» — Островский будет писать Некрасову о «сумасшедшем, бешеном успехе» пьесы. Открылся модный каток на Пресненском пруду, в двух шагах от квартиры Дриянского, по соседству с Зоологическим садом: именно той зимой — как впоследствии точно установят

литературоведы — толстовский Константин Левин будет здесь кататься вместе с Кити Щербацкой. Или вот: «Саратовский помещик Петр Иванович Богданов осенью выехал из Саратова в поле с собаками; куда бежали зайцы и лисицы, туда и Богданов ехал с охотою; так за зайцами и лисицами доехал до Симбирска, где захватила его зима. Между Саратовом и Симбирском до 400 верст по почтовой дороге. Богданов хорош собой, богат, щеголь, танцор, немного поэт — быстро стал необходимым членом общества...» Излагали газеты и другие новости, предупреждали об осторожном обращении с огнем — приближался новый, 1873 год, а с ним и новогодние праздники с их всегдашней пиротехникой.

О смерти литератора Егора Эдуардовича Дрянского 29 декабря 1872 года в доме Александра, в Безымянном переулке, что за Пресненским мостом, газеты не сообщали.

* * *

Островский был, конечно, прав в своем утверждении, что лучшие вещи Дрянского, произведения «творца-художника», прошли незамеченными в тогдашней литературе. В

самом деле: если на первые его сочинения и были положительные отзывы в печати (среди них в первую очередь следует выделить оценки Аполлона Григорьева), то вскоре их сменили характеристики из частной переписки, а затем и полное молчание.

Подтверждается и другое заключение Островского, что эти вещи не принесли Дриянскому ничего, кроме горя. Лучшим комментарием к нему могут служить письма писателя, в особенности последние. В них речь идет о нищете, «чистой нищете», когда нет 1 рубля 19 копеек в аптеку сегодня, а завтра денег может не оказаться и на «более необходимую потребность», то есть на похороны. В одном из писем конца 60-х годов писатель попытался обобщить опыт своих литературных и прочих злоключений: «Знаете, я не фаталист и верю, что все несообразности и неудачи зависят исключительно от нашего неумения орудовать делом, от непрактичности, нерасчетливости и от подобных причин, но о себе имею право сказать, что я именно та исключительная личность, для которой придуманы нарочно и исключительные препоны во всем.

Например, я твердо уверен, что если мне завтра предстоит перейти улицу для того, чтобы получить что-либо желанное, даже должное в смысле интереса, непременно посреди улицы окажется либо загородка, либо канава непроходимая, — одним словом, то, что скажет: «Ступай назад! Другим можно, тебе нет!» Черт знает что такое! Так ли, сяк ли, бог меня убей, становится совестно за самого себя. И кружится голова, и тоска разъедает душу»[4]. Знаменательно и само дословное совпадение писем (Островского о Дриянском и Дриянского к Островскому), только Островский убрал «исключительность», и, думается, не потому, что ее вовсе не было, а просто больше было «непрактичности», «неуменья показать товар лицом» и других «подобных причин».

Мнение Островского о том, какие произведения Дриянского считать лучшими, разделялось и многими другими литераторами их круга, так полагал, по-видимому, и сам их автор. Для большинства Дриянский был создателем «Одарки», «Квартета» — и это служило достаточной рекомендацией (во всяком случае, в воспоминаниях современников и их пе-

реписке его имя чаще всего фигурирует именно с такой пояснительной характеристикой). О «пр.», то есть о прочих произведениях писателя, как-то не вспоминалось.

Пожалуй, единственное исключение составлял С.В. Максимов.

На письмах Дриянского к нему рукой адресата для справки уверенно проставлено: «Письмо автора «Записок мелкотравчатого». Постепенно именно эта точка зрения возобладала: известно, что «Записки» высоко оценивал и использовал в своих произведениях Чехов, читал и хвалил Бунин, что к числу ценителей «Мелкотравчатых» принадлежали А.М. Ремизов и М.М. Пришвин.

В 1930 году известный историк литературы П.Е. Щеголев переиздает книгу Дриянского и в своем предисловии называет ее «лучшей из охотничьих книг», ставит в один ряд со знаменитыми охотничьими записками С.Т. Аксакова, «Записками охотника» И.С. Тургенева, блистательными страницами, написанными об охоте Львом Толстым. То есть ставит наравне с лучшими, классическими образцами великой русской прозы XIX века. И авто-

ритетно утверждает: «Не только охотничья книга, а еще общечеловеческая и художественная», «написана пером первоклассного мастера».

Но что же это все-таки за книга, заслонившая собой все остальные произведения Дриянского? Что такое «Записки мелкотравчатого», которые позволяют их автору с полным правом претендовать на почетное место в русской литературе и чем они отличаются от других, классических охотничьих записок?

* * *

«Посылаю вам, любезнейший Александр Николаевич, статейку в «Смесь», — писал Дриянский Островскому из Раненбурга летом 1850 года. — Душевно рад, что удалось выполнить обещание: не знаю, хорошо ли? От вас зависит оценка. Мое дело было сделать как сумелось. Правду сказать, я было начал ее сперва без основной идеи, а так просто, сплеча! Но, вникнув после в дело, когда оно пошло ровнее, нахожу, что этот отдел есть неисчерпаемый источник для пера, а потому, быть может, ни к селу, ни к городу окрестил ее «Мелкотравчатыми» и расположил так,

что впоследствии можно будет развить их как душевнике угодно»[5].

Так небрежно началась история «Записок», первый отрывок из которых под названием «Мелкотравчатые. Очерк из охотничьей жизни» появился в № 2 «Москвитянина» за 1851 год. Отметим любопытное совпадение. «Мелкотравчатые» были напечатаны в отделе «Смесь», «так сказать, на задворках журнала», по замечанию Щеголева. А за четыре года до этого в «Смеси» январской книжки «Современника» за 1847 год был опубликован первый очерк из «Записок охотника» Тургенева. Или, как писал об этом П.В. Анненков: «...в одном углу журнала блистал рассказ «Хорь и Калиныч», как путеводная звезда, восходящая на горизонте»[6]. В дальнейшем оба эти произведения печатались уже в главных отделах журналов — в «Словесности».

Но этим сходство «Записок» Дриянского и Тургенева не исчерпывается. На их общее отличие от «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии» С.Т. Аксакова обратили внимание уже сами охотники. Так, в известной «Русской охотничьей библиографии»

Н.Ю. Анофриева характеристика «Мелкотравчатых» (к этой любопытной характеристике мы будем возвращаться и позже) дана в разделе «Охотничьи повести и рассказы». В том же разделе помещена справка и о записках Тургенева, тогда как аксаковские «Записки ружейного охотника» отнесены библиографом в гораздо более специальный раздел «Охотничьих руководств и справочников» вместе с охотничьими инструкциями, календарями и т. п.

Книга Аксакова и в самом деле много специфичнее и как бы «научнее» произведений Тургенева и Дряньского. В центре его записок — звери и птицы, человек же со своей собственно человеческой психологией, страстями устраняется из этого мира или, точнее, подчиняется ему и служит верным его отражением. Он — наблюдатель-натуралист, который наблюдает — а по Аксакову это значит: и любит и блюдет, то есть с любовью оберегает, — открывшиеся ему будто впервые красоту и сложность природного мира, не желая смешивать и портить их своей собственной сложностью. Этот наблюдатель (но никак не

охотник как главное действующее лицо) словно находится в зрительном зале, на сцене которого разворачивается великое и вполне самостоятельное действие — жизнь природы. Главные его персонажи — пернатые и четвероногие — равнодушны к человеку, кажется, вполне могут обойтись и без него, но человек уже начинает догадываться, что у природы есть своя душа и свобода. А догадка эта, догадка о родственном, хоть и забытом, ведет к участию, любви, пусть еще безответной.

Совсем иначе у Тургенева. Охота как таковая его интересует меньше всего — охотник он маскарадный, «странный» (то есть сторонний, посторонний на охоте), по отзывам многих современников, в частности И.И. Панаева. Прекрасные охотничьи и пейзажные описания в «Записках охотника» — это только лирические отступления, своего рода стихотворения в прозе. Описания природы композиционно организуют книгу, дают ей общий светлый тон; они могут сливаться с ее главной темой, могут контрастировать с ней, но никогда не самодовлеют. Грубо говоря, охота

здесь только внешний повод для проявления поэтического «чувства природы» рассказчика, условный организационный прием для решения совершенно другой задачи: изображения мира людей, «земледельческого класса», масштабных социальных обобщений.

И наконец, Дриянский. Для него важна именно охота. Охота как процесс, как самостоятельный социальный институт, как явление, изменяющее обычные отношения между людьми, между человеком и зверем и заставляющее вспомнить об общей, родственной «праоснове» этих отношений. Здесь есть нечто общее с аксаковским подходом к миру, но если аксаковский охотник, затаившись на одном месте, ласкает природу своим любящим, внимательным взглядом, то охотник Дриянского вторгается в нее со страстью, инстинктивно понимая, что встретит столь же сильное ответное чувство.

«Читатель, не державший в руках ружья, — справедливо писал о «Мелкотравчатых» Щеголев, — не имеющий никакого представления об охоте, собаках и так далее, вдруг проникается настроениями и интересами

охотника, входит во все подробности охотничьего спорта. Ему становится близкой и родной психология гона, психология борьбы со зверем, делаются понятными и волнующими переживания собаки и человека, возникающие из их совместной работы»[7].

Многие отличия книги Дриянского от записок Аксакова и Тургенева проистекают из своеобразия самого материала «Мелкотравчатых». Ведь псовая охота, так же как и ее воздушный аналог — соколиная охота, много древнее большинства остальных охот, в том числе и ружейной. Ружье в руках охотника свидетельствует о том, что между миром зверей и птиц и человеком пролегла непроходимая граница и человек может нарушить ее только с помощью чуждого этому миру предмета — продукта человеческого развития, цивилизации, и он вступает в этот мир хозяином-завоевателем, диктующим свои условия. Ружейная охота — это борьба заведомо неравных соперников, и, безусловно, этический момент был решающим в той странности аксаковской книги, что в записках ружейного охотника ружейной охоты нет как таковой —

она только подразумевается. Это — исходная предпосылка, заданное, но оставшееся за пределами книги условие.

Ружейный охотник, как правило, одинок, во время охоты он не принадлежит ни человеческому, ни какому другому коллективу. Если же он по гуманным соображениям забудет про ружье, станет натуралистом-охотником, литератором-охотником (причем слово «охотник» будет обязательно на втором месте), то все равно останется в сфере действия человеческой культуры, и одиночество его будет даже еще заметнее: ведь не случайно именно в этой сфере закрепились формула «наедине с природой».

Отношения же между охотником и подружейной, легавой собакой — слепок с неравенства отношений в человеческом обществе. Собака здесь, конечно, и друг, но самое главное — верный слуга, разыскивающий и подносящий убитую дичь.

Не так в псовой охоте. Здесь между человеком и зверем стоит, по существу, еще один зверь, только в большей или меньшей степени прирученный, одомашненный и потому

державший сторону человека. Основная борьба разворачивается между представителями одного или почти одного мира, человек же — в первую очередь заинтересованный свидетель псовой охоты, а уже потом участник ее финала. Тут уже власть переходит в его руки, он поднимается над сиеной как главный устроитель и действительный хозяин им задуманного, а осуществленного зверями действия, он вершит их судьбу и получает их добычу. Не случайно на фреске в юго-западной башне Софии Киевской, на которой изображена древняя сцена охоты на тарпанов (диких лошадей), ситуация так близка псовой охоте, только на месте собак изображены пардусы (прирученные гепарды).

Гончая может нарушить волю пославшего ее, обернуться его врагом, посягнуть на достоинство человека — домашних животных. Но эти нарушения человеческого права расцениваются не по тем законам, по которым признается право только человека, а по древнейшим, где человек и зверь равноправны и, вступив в борьбу (или заключив союз), равно отвечают за свои поступки: будь то убийство

или покушение на собственность. Человек сильнее собаки, он подчинил ее своей воле, она стала его собственностью. Но и он же в силу законов псовой охоты признает за ней право на протест, проявление звериной свободы — ответственность за плохую выдержку стаи несет он сам как ловчий, охотник. В «Записках мелкотравчатого» погибает на охоте мальчик Фунтик, но это не просто несчастный случай, не трагическое исключение из порядка жизненной справедливости, а напоминание об естественном и справедливом порядке, когда жертва может ответить убийце тем же.

Древнюю основу псовой охоты Дриянский тонко чувствует, художнически понимает и передает в «Мелкотравчатых» с возможной полнотой. С той же художественной полнотой рассказывает он о самом процессе охоты, обо всех его подробностях и деталях.

Мы уже отмечали своеобразную «научность» «Записок ружейного охотника» Аксакова, когда речь шла о жанровых отличиях его книги от охотничьих записок Тургенева и Дриянского. Тогда на первый план выступила

большая непрофессиональность, относительно большая литературность, беллетризованность двух последних книг (отмеченная и в охотничьей библиографии). Термин «научность» вполне можно употребить в применении к книге Аксакова даже и без кавычек, ведь она, как известно, была высоко оценена крупнейшими представителями тогдашнего русского естествознания (проф. К.Ф. Рулье, проф. В.М. Черняевым и др.). Посмотрим же теперь, как отнеслись к «Запискам» Дриянского специалиста-охотники с точки зрения своей «науки» — это позволит установить фактическую основу «охотничьей повести», «собачьего романа», понять, на каком действительном материале создавал писатель свое повествование о псовой охоте.

В самом конце «Мелкотравчатых» сделано следующее заявление: «...правильная серьезная псовая, как и всякая другая охота, есть своего рода наука, к которой, заключу словами ловчего Феопена: **«Надо подступать умеючи»!**

Насколько профессионально следовал этому заявлению в своей книге Дриянский, мож-

но увидеть, сравнив ее со специальными руководствами для псовой охоты Реутта и Венцеславского, что уже сделал в свое время П.М. Мачеварианов — «профессор охоты», как его именовали современники. «Е.Э. Дриянский, — писал он в «Записках псового охотника Симбирской губернии», — в своем прекрасном, живом охотничьем рассказе «Записки мелкотравчатого» высказал о псовой охоте во сто раз более, дельнее и поучительнее для неопытных охотников, чем сколько написано в обоих вышесказанных руководствах»[8]. Уже в XIX веке на «Мелкотравчатых» начинают ссылаться при разрешении профессиональных споров, авторитет их в вопросах псовой охоты становится непререкаем. «Не угодно ли заглянуть в книгу «Записки мелкотравчатого» г. Дриянского, — советует своему оппоненту автор одной из статей в специальном «Журнале охоты» (1876, № 3), — посмотрите, как ловил русака только что сегодояльный кобель Карай — тогда будете иметь понятие, как должна ловить резвая собака двух или трех осеней, т. е. в самой поре».

Наиболее развернуто охарактеризовала с

этой точки зрения книгу Дрянского уже знакомая нам «Русская охотничья библиография» Н.Ю. Анофриева (Брест-Литовск, 1905): «Знаменитая у охотников повесть, изображающая псовых охотников времен крепостного права. Повесть написана замечательно живо, прекрасным охотничьим и литературным языком и считается образцом рассказов о псовой охоте. Эта повесть — лучшая настольная книга каждого охотника. Главные лица изображают известных тогда охотников: Алеев — Кареева, Бацов — Нитлева, а граф Атукаев — графа Палена. Книга редкая, стоит до 8 рублей».

Щеголев счел указание на прототипы персонажей «Мелкотравчатых» «скорее продуктом охотничьей легенды, чем исторической действительности». Очевидно, здесь сыграл решающую роль традиционно скептический подход к любому охотничьему (или же рыбацкому) высказыванию, претендующему на достоверность. Но на этот раз традиция «охотничьего» предания оказалась предельно документальной.

Вот как описывает Дрянский в «Мелко-

травчатых» собак «братовской породы», выведенной охотниками Алеевыми: «...привели на сворах одиннадцать молодых собак; глядя на них, трудно было поверить, что это щенки. Не знаю, что думали мои охотники, но я сознавал, что такой красоты, статей и роста собак вижу первый раз в жизни».

А теперь сравним этот отрывок с выдержкой из «Отчета о 2-й очередной выставке собак и лошадей в Москве» А.Е. Корша, помещенного в № 3 «Журнала охоты» за 1876 год: «Победим — кобель половопегий ростом 1 аршин 3 вершка (84 см. — *В.Г.*) — рост громадный для борзой собаки, такой громадный, что мы со своей стороны видели только вторую подобную собаку...» Победим получил на 1-й очередной выставке большую серебряную медаль. Вторая «подобная собака», о которой говорит в своем отчете А.Е. Корш — Награждай (рост 1 аршин 2 вершка), «как лучший представитель русской породы псовых собак», получил на 1-й выставке большую золотую медаль. «Награждай — однолетник Победима, собака породы Кареева... Собаки С.С. Кареева идут все от Наяна, принадлежащего покойно-

му Ал. Ник. Карееву, который вывел очень псовую, красивую и злобную породу собак, достигшую значительной известности... и описанную в «Записках мелкотравчатого» г. Дриянским».

В 1875—1876 годах на страницах «Журнала охоты» разгорается полемика по поводу «правил ведения пород» псовых собак. Начал ее некто Н.П. Ермаков. Вскоре ему ответил С.С. Кареев. Его статья с выразительным названием «Сердце не камень — не вытерпело и заговорило» была подписана фамилией автора и указанием: «Раненбургский уезд, с. Братовка» (вспомним, что именно из Раненбурга — ныне города Чаплыгина, райцентра Липецкой области, Дриянский отправил свое письмо о «Мелкотравчатых» Островскому летом 1850 года). Poleмика велась с постоянными ссылками на «Записки мелкотравчатого», упоминались граф Пален и другие прототипы героев «Мелкотравчатых», шла речь и о «дедовских и прадедовских традициях» содержания «братовской породы» — С.С. Кареев готовил к выпуску книгу «Сто лет кареевской охоты».

Итак, Дриянский возводит просторное зда-

ние «Мелкотравчатых» из кирпичиков документального, «портретного» факта. Но сам этот факт поучителен своей непохожестью на моментальный, «фотографический» снимок природной жизни, даваемый Аксаковым, на прикладную точность «охотничьего» взгляда Тургенева. Он взят из мира псовой ловли-охоты — «портрета» легендарных, давно прошедших времен, мира, дорожащего своим сходством с этим «портретом», своими «дедовскими и прадедовскими традициями». Непохожа на любую другую и охотничья «наука». Ведь генеалогия любой псовой собаки стремится в идеале выяснить, как давно был приручен человеком зверь и сохранил ли он на протяжении ряда поколений «дворянскую» чистоту своей природной, дикой «породы», несмотря на общение с изменившим этому прошлому человеком.

Изменяя отношения между человеком и собакой, охота преобразует и отношения между людьми. В «Мелкотравчатых» широко представлен быт мелкопоместного дворянства с его часто уродливыми формами семейной жизни (Петр Иванович и Каролина Федо-

ровна); граф Атукаев может вволю тешиться слабостями своего шута и нахлебника Петрунчика, словом, быт и нравы крепостнической России показаны во всей их неприглядности. Но охотник Атукаев ничем не выше других охотников, он преклоняется перед профессиональным авторитетом Алеева, безоговорочно подчиняется воле ловчего Феопена. Коллектив охотников — это своеобразная социальная утопия, первобытное братство люден перед лицом природы. «Нет, ты, брат, не шути этим! теперь ты сам **человек настоящий...**» — говорит Лука Лукич Бацов рассказчику после посвящения того в звание псового охотника, посвящения в члены этого братства.

И те же утопические законы охоты разрешают ловчему Даниле у Толстого грозиться поднятым арапником на своего барина, а того заставляют сконфузиться, испугаться собственного крепостного. Когда же охота закончилась, обращение старого графа к Даниле: «Однако, брат, ты сердит» напоминает о том, что все вернулось на свои места.

Место платоновского философа, в охотни-

чьей утопии «Мелкотравчатых» занимает ловчий Феопен — персонаж, близость которого героям древности выдает уже редкостное звучание его имени (Феопен — это русифицированная форма древнего греческого имени Феопемпт, в переводе — «Богом посланный»). Феопен — чудодей, знающий досконально все тонкости ловчего дела, умеющий так «выдержать» стаю, что она поражает даже и бывалых охотников. Это действительно, а не созданный человеческим высокомерием «царь природы», настоящий языческий бог охоты, древний и могущественный, полновластный владыка и друг своих собак, готовый для них и вместе с ними пройти все испытания. Ловчий Дриянского — это художник, высокие замыслы которого недоступны обычным людям и могут быть поняты только человеком близкой, художнической, природы. Это и хитроумный Одиссей, следующий впереди охотничьего поезда и, по мере того как охота начинает занимать все большие пространства, все более и более вырастающий в глазах читателя. Вершина его мастерства — охота в бескрайней степи графини Отакойто, апофеоз смет-

ки — в гениальной проделке с дистанчным и объездчиками, загородившими путь в эту степь.

«Данила Толстого, Феопен Дриянского и Леонтий Бунина (из рассказа «Ловчий», 1946 г. — В.Г.) — три бессмертных литературных типа в охотничьей литературе», — справедливо заключает современный исследователь этой литературы Н. Смирнов[9].

В «Записках мелкотравчатого» два мира, и у каждого из них свои измерения: социальные, пространственные, временные, языковые. Мир охоты только островок на необозримых пространствах русского мира, но этот островок несет в себе полную меру красоты и справедливости, непреходящая ценность которых лежит в основе всего мироздания. Мы назвали охоту своеобразной утопией, и своеобразие этой утопии прежде всего в том, что она реально существует («утопия» с греч. — место, которого нет), она часть действительного бытия мира, а не отвлеченный идеал, недостижимая норма. Люди и природа выступают в охоте как единое и нерасторжимое целое, но это целое живет по законам природы,

и человек здесь только гость, он только «ходит на охоту», а живет совсем в другом месте. В этом — действительная утопичность охоты. Хотя связь между большим и малым разрушена не навсегда, так же как сохраняется она между охотой (охотой на зверя) и охотой (желаньем). «Охота — природа человека», «охота — веселье», — утверждает пословица.

В «Записках мелкотравчатого» два времени: одно историческое, со всеми точными приметами жизни России середины прошлого века, другое — время самой охоты — природное, «богатырское время» русских былин и гомеровского эпоса. И второе начало, по мере развития повествования, побеждает в книге Дрянского.

В «Мелкотравчатых» нет сюжета. Его движение подменяется движением охоты, охотничьего поезда. И с каждым шагом охоты человек все более и более приближается к природе, все крепче становится его связь «со всеми соединенными силами мира» (М.М. Пришвин). В конце концов наступает их полное слияние: над миром «Мелкотравчатых» подымается в своей вневременной и внепростран-

ственной сущности образ охотничьего «рая» — степь графини Отакойто — «сто двадцать тысяч десятин земли, от сотворения мира не паханной», по которой «бродят стадами журавли, дрофы, стрепета, обитают миллионы сурков», водится в изобилии красный и всякий иной зверь. У этого «другого края» не может быть никакого хозяина (графиня Отакойто — условный символ, который, получив от охотников свое прозвание, пребывает постоянно где-то «за границей»), и только охота может существовать здесь в обрамлении «картины, которой нельзя было дать другого названия, как **земля да небо**».

Движение охотничьего поезда начинается под звуки песни, песня же в заключении книги (в сцене «посвящения») объявляет о том, что охота замирает до следующей осени. Ведь псовая охота живет по законам природного времени и так же, как природа, периодична — только с первых желтых листьев до первых порош приходит она на землю. Охотничья песня — это еще и указание на особое языковое существование охотничьего мира, имеющего свой фольклор и богатую литера-

туру.

Охотничий язык «Мелкотравчатых» — это не просто ряд терминологических вкраплений в общелитературную, «книжную» речь, как на этом в своем примечании «от автора» вроде бы пытается настоять сам Дриянский. Это стилистическая основа книги, придающая ей совершенно необыкновенный лингвистический колорит, силу выражения, громкое и неожиданное звучание. «Первой в русской литературе по богатству языка», — назвал книгу Дриянского глубокий знаток народной речи и великолепный ее мастер А.М. Ремизов [10]. Охотничий язык не совсем понятен неспециалисту, но это древний, коренной русский язык, соединенный со множеством знакомых слов богатыми ассоциативными связями. И именно в силу своей *неполной понятности* охотничий термин переживается читателем много сильнее, непосредственнее, чем стершееся, привычное, общелитературное слово. Происходит нечто вроде языкового открытия: за незнакомым, новым узнается старое, знакомое, и каждое слово становится целым миром, «бездной пространства», по Го-

голю.

Приведем только несколько примеров. Охотники говорят: «помкнуть» зверя, то есть поднять его с места, «взбудить» и погнаться за ним по горячему следу. Начало гона так и зовется «помычкой». И рядом сразу же встают близкие, однокоренные выражения: «помыкать» (кем-нибудь), «мыкаться» (по свету), «умыкнуть» (невесту), пословица «Умыкали бурку крутые горки!» и т. д. Весь тот богатый словесный ряд, где и «умкнуть», то есть замкнуть, убрать под замок, и «помыкая истомить, умучить, замаять» (Даль), и новгородское областное «помыкуша», то есть шатун, бродяга и т. п. Или поразительно точный термин «мышкованье», то есть ловля лисицей мышей в осеннем или зимнем поле.

Или сами названия собачьих пород. Вот «борзые» — от слова «борзо», то есть быстро, стремительно. «Седлай, брате, свои бръзьи комони», — сказано в «Слове о полку Игореве». И тут же встает весь ряд, выражающий скорость, остроту: «борзотекущий», «борзолетный», «борзописец» и т. п.

Охотничий язык имеет свою иерархию,

точно отмечающую изменения, происходящие в мире природы. Каждой ступеньке этих изменений соответствует свой термин. В «поле» охоты встречаются «острова», то есть небольшие отдельные лески, особняки (Даль). Волки разделяются на «прибылых», то есть тех, которым меньше года, «перееярок» — больше года, «матерых» — больше двух лет и «стариков» — больше пяти. К тому же волк, находящийся при логове, гнезде, волк-отец, называется «гнездарем», волчица-мать — «гнездаркой».

В этих терминах нетрудно уловить их происхождение: в первом случае («прибылой») мы встречаемся с производным от «прибыли», во втором («перееярок») — со зверем, переживающим пору возмужания, «перееяривания» — от древнего славянского бога плодородия Ярило; в третьем («матерой») — с вполне взматеревшим, сформировавшимся, вошедшим в года зверем — от древнего, родового, идущего от «матери».

Повествование в «Мелкотравчатых» ведется от первого лица, лица бывшего ружейного охотника, совершающего свое первое охотни-

чье путешествие в составе псовой охоты и на наших глазах, вместе с нами постигающего всю ее «науку» (в том числе и язык). Но за литературным образом рассказчика, который столь прямо соотносится с нашим собственным незнанием охотничьего мира, стоит сам автор, этот мир прекрасно знающий и понимающий. Уже то, что нам известно о реальной основе книги Дриянского, позволяет предположить, что рассказчик и автор «Записок мелкотравчатого» не могут очень далеко отстоять друг от друга. Досконально зная биографию писателя, мы могли бы наверняка, идя «от факта к образу», найти еще не одно, не два подтверждения точности его художественного метода.

Но биография Дриянского нам почти неизвестна. Так нельзя ли поступить наоборот и, воспользовавшись художественным материалом «Мелкотравчатых» (и других его произведений), попробовать если не установить новые биографические данные, то хотя бы дополнить немногие имеющиеся и подтвердить или опровергнуть сомнительные?

* * *

Мы не знаем, где и когда родился Дриянский. Островский говорит о «хохлацком упрямстве» писателя, «малороссийским литератором» называет его Дубровский[11]. Сам Дриянский писал малороссийские повести («Одарка», «Паныч»), в которых показал себя прекрасным знатоком украинского быта, фольклора. Все говорит за то, что его родиной можно считать Украину.

Подтверждает это и тот факт, что в «Списке сочинений литераторов, получивших воспитание в гимназии высших наук и лицее кн. Безбородко», где под номером VIII стоит имя автора «Мертвых душ», значится и Дриянский[12]. Кажется наиболее вероятным, что учился он в Нежине в 1830-е годы[13]. Но в списке студентов, окончивших курс в этом учебном заведении, Дриянского нет. Следовательно, недоучился?

Преподавание в нежинской гимназии, как и в большинстве закрытых школ того времени, отличалось гуманитарным уклоном: студенты изучали здесь языки, словесность, историю, искусства — рисование и пр. Конечно, интеллектуальный запас пополняется на про-

тяжении всей жизни, но основы его закладываются в детстве. Так нет ли у рассказчика «Мелкотравчатых» таких интеллектуальных черточек, которые, будучи вовсе необязательными для обычного охотника — а именно таким он в книге представлен, — могли бы «выдать» гуманитарное образование самого Дрианского?

Как будто есть. Рассказчик владеет по меньшей мере двумя — французским и немецким — языками, причем настолько свободно, что может судить об ошибках в произношении других персонажей книги. Конечно, знание языков для того времени не критерий отличия, но показательно, что, если большинство охотников худо ли бедно «знают по-французски», только он один может обратиться к немке Каролине Федоровне на ее родном языке. Но уж совсем необязательно обычному охотнику разбираться в тонкостях живописи, уметь отличать копию от оригинала, хорошую картину от посредственной, а Боппа от Рюисдаля. Между тем рассказчик при случае уверенно берется за это.

Нежинская гимназия создавалась как при-

вилегированная школа для детей местных дворянских фамилий. Условия приема несколько раз смягчались, состав воспитанников постепенно демократизовался, но в интересующие нас годы он оставался преимущественно однородным. С этим как будто согласуется, что и Дриянский одно из своих писем (официальное письмо к министру просвещения) подписал: «Егор Эдуардов сын Дриянский (дворянин)».

Но в генеалогических справочниках и родословниках, как украинских, так и польских, как общих, так и губернских, фамилия Дриянского не обнаружена. Да и сама она вызывает известные сомнения. Как справедливо писал Щеголев, «фамилия его, сочетание имени и отчества невразумительны». Или, может, «дворянство» Дриянского было либо недавним, либо вообще проблематичным?

Однако безымянный рассказчик «Мелкотравчатых» держится вполне «на равных» с другими охотниками, в том числе и с титулованными (графом Атукаевым). Да и в отношении к нему не заметно ни тени пренебрежения, которое тот же «его сиятельство» иногда

демонстрирует в обращении с «низшими». Судя по всему, герой Дриянского принадлежит к мелкопоместному, но не безродному дворянству, сохранившему достоинство своих предков, но не их недостаток.

Чем занимался Дриянский по выходе из лицея и до знакомства с Островским в 1850 году, мы не знаем. Вероятнее всего, 40-е годы он провел на военной службе в провинции: об этом говорит повесть «Квартет» с ее доскональной точностью и специальными подробностями в описаниях армейского быта. Некоторые детали из жизни главных героев «Квартета» имеют, видимо, автобиографический характер и дают основание предположить причину службы Дриянского в армии: ту же материальную неустроенность и желание поправить дела офицерским жалованьем.

Попав в Москву и познакомившись с Островским, Дриянский стал принадлежать к его ближайшему окружению. Членом этого кружка он и вошел в русскую литературу. Ядро кружка составляла «молодая редакция» «Москвитянина». Так принято называть груп-

пу молодых литераторов (А.Н. Островского, Ап. А. Григорьева, Е.Н. Эдельсона, Б.Н. Алмазова, Т.И. Филиппова), сблизившихся между собой на почве одинаковых взглядов на задачи и цели русской литературы. С 1850 года этих писателей редактор старого и заслуженного журнала «Москвитянин» М.П. Погодин пригласил сотрудничать с целью обновления и оживления своего издания.

Вокруг «молодой редакции» объединялись остальные: Н.В. Берг, Л.А. Мей, А.Н. Потехин, М.А. Стахович, Е.Э. Дриянский, И.Т. Кокорев, И.И. Железнов, С.В. Максимов и др. — литераторы; Н.А. Рамазанов — профессор скульптуры; П.М. Боклевский — художник, знаменитый иллюстратор «Мертвых душ»; П.М. Садовский, С.В. Васильев, И.Ф. Горбунов, А.И. Дюбюк и др. — артисты и музыканты. Кружку, в большей или меньшей степени, принадлежали и различные талантливые самоучки из простонародья (музыканты, певцы и т. п.), студенты, купцы, сидельцы из торговых рядов «не по писанной инструкции, а на основах обычного права: обязательно быть прежде всего русским человеком и доказать

свои услуги какой-либо из отраслей родного искусства, той или другой — безразлично» (С.В. Максимов)[14].

«Егор Эдуардович Дриянский из всех московских литераторов был наиболее частым посетителем и собеседником Островского», — свидетельствует тот же С.В. Максимов[15]. Дриянский был «крестником» Островского на литературном поприще: его первый литературный опыт — повесть «Одарка Квочка» — увидел свет в № 17-18 «Москвитянина» за 1850 год при непосредственном участии драматурга. Не был оставлен заботами своего великого друга писатель и на протяжении всего остального творческого и жизненного пути: Островский — частый слушатель новых вещей Дриянского (пьесы «Комедия в комедии», повестей «Паныч» и «Квартет» и др.), их редактор, он то и дело хлопчет, нередко безуспешно, за них перед другими редакторами. По просьбе Островского Дриянский начал писать «Мелкотравчатых», не обошлась без его участия и дальнейшая история этой книги [16].

Очевидно, в 1850-е годы у Дриянского еще

было небольшое имение: в одном из писем того времени к Дружинину упоминается некая деревня, из которой получена весточка, что «град обработал все на два года вперед» [17]. Во всяком случае, тогда у Дрянского была еще возможность выбора между литературой (точнее, литературным заработком) и охотой (то есть существованием на доходы с имения). В письме к Островскому от 3 марта 1853 года раздраженный неудачами с повестью «Квартет» Дрянский пишет: «Черт с ним (то есть с «Квартетом». — *В.Г.*) и со всею литературой — лучше порскать!» [18] В сентябре 1856 года он собирался начать хлопоты о каких-то «вещах более существенных», чем литература, при которых «можно будет позабавиться литературой, но только забавляться, не больше того» [19].

Эта операция — по замыслу Дрянского она, вероятно, должна была обеспечить его благосостояние — явно провалилась, и к началу 60-х годов мы его застаем кругом в долгах, с одной только надеждой «прокормиться честным литературным трудом». Теперь вместо собственной деревушки он ездит в име-

ние Островского Щельково (и выполняет там обязанности управляющего), а любимую охоту заменяет рыбной ловлей на речках Куекше и Мере, обильных «щуками и карасями». В последние годы жизни Щельково (или, как его называл Дрянский, «Щелоково») становится для больного и измученного литератора каким-то символом отдохновения «без волнений и тревог»: «Дорогой Александр Николаевич! Наконец, мне начало во сне видеться, что я с вами в Щелоково...»[20]

Мы не знаем даже, как он выглядел: не сохранилось ни подписанных фотографий, ни портрета. Есть, правда, два любопытных свидетельства о внешности писателя, которые позволяют предположить, что она была не совсем обычна.

Первое принадлежит М.И. Семевскому и относится к его посещениям квартиры Островского в Серебряном переулке, у Николы Воробина. 1 ноября 1855 года Семевский увидел здесь в числе гостей и автора «Записок мелкотравчатого» — «мужчину с загорелым лицом и с черными усами»[21].

Второй «словесный портрет» — из письма

А.Ф. Писемского к Островскому (около 7 августа 1858 года). С сентябрьской книжки «Библиотеки для чтения» за 1858 год должна была печататься повесть «Квартет». «Всю первую часть уже набрали», как вдруг Дриянский неожиданно потребовал, чтобы рукопись была передана в распоряжение Аполлона Григорьева. Последний еще весной 1858 года во Флоренции был приглашен Г.А. Кушелевым-Безбородко в «Русское слово» в качестве помощника главного редактора и ведущего критика.

У Писемского — в это время соредактора «Библиотеки» — были все основания для недовольства как поведением Григорьева, который выступал здесь в роли нежелательного конкурента, так и Дриянского — чересчур легкомысленного, непоследовательного и чуть ли не корыстолюбивого автора. И он в письме к Островскому (общему другу всех троих) не скупится на весьма нелестные характеристики. И в числе прочего вдруг возникает совершенно неожиданное определение, вроде бы к самому делу и не имеющее никакого отношения, но явно «портретного» свойства: «Я на-

писал Дриянскому письмо довольно легонько, но ты распеки его и скажи, что так даже *берейторы, облик которых он носит* (курсив мой. — В.Г.), так берейторы не делают...»[22]

Итак, первое свидетельство — «мужчина с загорелым лицом и с черными усами», второе — похожий на «берейтора». Эти свидетельства как будто не противоречат одно другому, скорее, наоборот, в совершеннейшем согласии рисуют портрет если и не охотника, то уж, во всяком случае, человека, близкого и к солнцу и к лошадям (берейтором, как известно, называют специалиста, объезжающего верховых лошадей и обучающего езде на них).

* * *

Самый глубокий и теплый отзыв о Дриянском оставил его друг С.В. Максимов: «За отзывчивое, мягкое сердце он в равной степени оценен был и литературным и театральными кружками... в литературных кружках возбуждал сочувствие постоянными неудачами в делах. Казалось, не было человека несчастнее его. А он не скорбел и не унывал, и тотчас забывал о себе, как только требовалась на сто-

роне его помощь или простое участие, и затем хлопотал без устали»[23].

Таким, кажется, и должен был быть Егор Дриянский — писатель, охотник, автор прекрасной, человечной и, пожалуй, одной из самых светлых и радостных книг в русской литературе — «Записок мелкотравчатого».

В. Гуминский

Записки мелкотравчатого

I

Отъезд. — Проказы лешего. — Удачное *salto mortale*. — Картина ночлега охотников. — Бацов и Петрунчик. — Мелкотравчатые. — Котловина. — Гоньба. — Волк и Чаус. — Клинское. — Обед. — Савелий и Красотка.

«С волками жить — по-волчьи выть», — говорит пословица. Все пословицы я уважаю за тот широкий смысл, который лежит в их основании, а значение последней как нельзя лучше оправдалось на мне самом.

Жил я долго в таком благодатном месте, куда с каждой весной прилетало множество дичи, в просторных полях водилась пропасть зайцев, а в болотах и заводях выплаживался выводками красный зверь[24]. Все соседи мои, за редким исключением, были страстные охотники: глядя на них, и я завел своры [25] две борзых[26] и мало-помалу научился

выть по-волчьи, следить заячью тропу по пороше и с первой сметки[27] отличать в жирах [28] след на логово, добыть лису по нарыску [29] и прочее, и прочее. Одним словом, в короткое время я, как говорится в комедии, «дошел до степеней известных»[30], или же, как выражались старые сутяги, стал «в роде своем не последний».

Как все это сделалось, и какими судьбами я превратился из простого смертного в образ мелкотравчатого, разъяснить того не умею. Рассуждая о том иногда сам с собой, я припоминаю те впечатления, которые сопровождали меня в начале моего поприща, и, чтобы не забыть их совсем, записываю в том виде, как представляет их еще не изменившая мне память.

Однажды, сидя в просторном зале за обеденным столом у графа Атукаева, в кругу двадцати человек общих соседей — псовых охотников, я, как страстный ружейник, заспорил горячо о преимуществах ружейника перед борзятником. Двадцать голосов самой жаркой оппозиции не в силах были поколебать моих в том убеждений. Спор, доходивший

подчас до неистовых возгласов и стукотни кулаком по столу, кончился далеко за полночь, уже во время ужина; кончили тем, что я дал слово хозяину отправиться с ним на всю осень в отъезд[31] и присутствовать там в качестве наблюдателя.

Срок для съезда в условленном месте был не за горами, а потому, дождавшись назначенного дня и уложив свой дорожный скарб в тележку, я тронулся в путь.

До места первого ночлега нашего, под открытым небом, следовало проехать верст тридцать. Времени в запасе у меня было много, а потому, не рискуя опоздать, я завернул по пути к одному из помещиков на чашку чая, и вместо того, чтоб пробыть у него, как намеревался, не больше часа, волею-неволею я должен был разыграть пульку[32] и досидел до десяти часов вечера. Взглянув на часы, я заторопился и, не внимая никаким убеждениям, решился ехать. Мы распрощались.

Два человека, держа каждый по свечке в руке, открывали мне путь по крутой и высокой лестнице; добравшись кое-как до последней ступеньки, я неволей ахнул: отворенная

настежь дверь нарисовала моему, вдруг при-
тупевшему, зрению картину самого темного,
мокрого и холодного погреба. На вершок от
носа, кроме мрака, пахнувшего мне в лицо
чем-то неприветливым, ничего не было вид-
но. Одну свечу задуло тотчас. Наконец, по-
средством другой, выставленной напоказ вет-
ру, в вытаращенных глазах моих мелькнуло
на мгновение пол-обода переднего колеса и
половина хвоста левой пристяжной. Осталь-
ное пожирал мрак.

— Игнатка, ты тут? — спросил я, двинув-
шись шаг вперед и махая руками по воздуху.

— Здесь! — отвечал Игнатка, и по звуку
этого длинного и сухого «здесь» я тотчас смек-
нул, что лицо Игнатки было живая копия с
темноты и погоды.

— Как же? Десять верст — не близко. Как
мы доедем?

— Авось... выедем — аглядимси...

Я отыскал ощупью кузов тележки; боль-
шая капля дождя упала мне на нос; пристяж-
ная встрепенулась и загремела бляхами; свеч-
ка погасла. Я сел.

Выехав со двора, нужно было повернуть

тотчас направо и спускаться по излучистому пригорку, окаймленному с одной стороны садовым тыном, а с другой — отвесною водомоной, которая, расширяясь постепенно, спускалась вместе с этим узким проездом к плотине, пересекавшей большой пруд. Эта дорога и днем, как то известно и памятно было всем и каждому, считалась не из лучших. Дело вначале пошло у нас очень степенно, хотя по частому трясению головы коренного битюга я нехотя уразумел, что он, видимо, теряет охоту к солидному отправлению своей должности.

Наконец он заблагорассудил пуститься рысцой: схватясь обеими руками за грядки тележки, я не успел еще порядочно одумать-ся, как одна из пристяжных вдруг скрылась из глаз; раздалось громогласное: «Тпррру!» Пара остановилась. Игнатка, кряхтя, охая и причитывая что-то, полез с козел. По поверке оказалось, что она попала в яму, из которой мужики роют глину. Употребя около получаса на устройство оборванного валька[33] и упряжи, мы, наконец, благополучно очутились на другом плотины.

— Не вернуться ли, Игнатка? Судя по нача-

лу, нам не скоро добраться до места!

— Авось, теперь как-нибудь... Штоп им тут, окаянные... дуй вас горой!... Середь ездз глину роют... И барин-то у них согрешил грешный... Право, ну! Эхма!... Доехать бы...

Все это причитывание сопровождалось приличным количеством эхов, вздохов и покрякиваний, пока Игнатка усаживался и подбирал вожжи; наконец послышалось одно из невыразимых междометий и последующее затем: «Э-з-богом!», и лошади побежали рысью.

Прыть эта, однако же, продолжалась недолго; по судорожному встряхиванию и несколько не усладительной качке экипажа неминуемо следовало прилепиться к довольно основательной мысли, что мы прогуливаемся вовсе не по дороге; после изрядного толчка следовало неизбежное: «Тпру!» и немедленное отправление Игнатки для отыскания более эластичного пути.

Оставшись один, я от безделья начал приспособлять свое тупое зрение к сказанному Игнаткой «аглядимси». Успех был так велик, что я увидел дугу; лошади стушевывались с

грунтом. Минут двадцать прошло в частых перекличках; из причитываний, какими они сопровождались я вывел заключение, что мы, «без сумления», обойдены лешим.

На горизонте мгновенно блеснула и погасла искорка огня и заронила в мою голову частицу светлого соображения.

«Если этот блеск из кабинета, — думал я, — то наш путь лежит налево; если же из передней, то следует круто повернуть назад».

— Барин, а барин! Мы не туда едем, — сказал Игнатка подойдя ко мне на голос.

— Верю, мой милый! И даже верю, что мы теперь вовсе никуда не едем, а преспокойно стоим на месте.

— Как же быть-то?

На этот раз глагол «быть» терял свою вспомогательную силу.

— Надо найти дорогу и ехать по ней, — отвечал я после короткого раздумья.

— Вон там, влево, дорога есть, да, видно, не наша.

— Коли есть, так она и наша.

Вздыхая и причитывая, Игнатка вел коренную под уздцы; саженой двести продолжа-

лась качка, наконец колеса покатались плавно; стало заметно, что мы переменили направление: мелкий, сыпучий дождик увлаживал мой правый бок. С помощью «аглядимси» я предался наслаждению созерцать Игнатку; в непрерывном поклонении дороге, то направо, то налево, часа два времени протекло незаметно; лошади несколько раз порывались бежать рысью, но междометия Игнатки и вожжи мешали их усердию; наконец раздалось новое: «Тпррру!» — и коренная уперлась в межевой столб. По тщательном осмотре оказалось, что мы стоим на распутье трех дорог. Не желая получить вместо одного три вопроса вдруг, я обратился первый к Игнатке.

— Как думаешь, где мы?

— Иде это мы? Атцы мои!... Ах, дуй те горой!... Куда ж теперь? — было ответом.

Вскоре Игнатка снова затянул: «Э-з-богом!» — и лошади пустились трусцой по неизвестному всем нам пути.

Дождик начал переставать: я накрыл голову мокрым воротником шинели, решаясь ни о чем не думать, но час времени прошел по пустому. Стало скучно.

— Игнатка, спой что-нибудь! Ты-таки мастер.

— Эх, сударь, грех-то какой! И где водится, чтоб ефтакие разы кто стал песни петь. Ну, неравен случай, как с дядей Никифором... Ну, как не приведи... да вот... с нами крестная сила!... — Игнатка поспешно начал креститься.

Впереди нас, казалось невдалеке, вдруг заблистало несколько отдельных огоньков, все они как будто были в движении, некоторые из них светились очень ярко и отбрасывали искры, другие были слабее, но перед ними двигались какие-то неясственные фигуры и тени. Полагая, что эта перестановка происходила от движения нашего экипажа, я велел остановиться, но сумятица все-таки продолжалась, всего же страннее было видеть то, как один из этих огоньков вдруг исчезал, и на месте его появлялся другой, гораздо ярче и пламеннее, и вслед за тем снова начиналось передвижение.

— Э-ва! Расплясались! Что ж, сударь, куда теперь ехать прикажете?

— Ступай прямо на освещение.

Вместо должного исполнения Игнатка

обернулся и посмотрел мне в глаза.

— Говорят тебе: ступай!

— Барин, а барин! Неужто вы занапрасно хотите душу губить?

— Дурак, где есть огонь, там, наверное, если не тепло, то сухо. Пошел прямо!

Вздохнув глубоко, Игнатка повиновался. Несмотря на близость освещения, мы ехали очень долго, то спускаясь в лощины, то поднимаясь на бугры, по мере приближения нашего к этому освещению, оно слабело и погасало; не желая потерять из вида и последнего из этих светочей, я велел свернуть с дороги и ехать прямо; после мучительного переезда по пашне мы выбрались на луговину и очутились у опушки леса. Пропутав довольно долго между порубей и кочек, мы снова попали на дорогу, которая повела нас вдоль опушки. Рассчитывая по месту и времени, я был вполне уверен, что мы находились вблизи виденного нами огня: в воздухе был слышен запах дыма и копоти, и сквозь густую кущу деревьев блеснула синеватая искорка угасавшего огня; но в ту минуту, как я намеревался остановиться для освидетельствования этой надеж-

ды на просушку, сонная чаща, казалось, пробудилась. В одно мгновение послышался звон железа, шум, треск, лай и рев огромной стаи псов, и вместе с тем вся эта орава, казалось, со всею кущею берез, дубов и осин, рушилась прямо на нас.

Более я ничего не взвидел, потому что в это время раздался неистовый крик Игнатки, и лошади во всю прыть помчали нас снова на кочковатый луг. Уцепившись крепко за тележку, я несясь как стрела; кувыркаясь со стороны на сторону, бросая вожжи и закрыв лицо руками, Игнатка при каждом толчке прыгал передо мною, как эластический мяч. Раздался один из самых сокрушительных ударов о пень, тележка крякнула, Игнатка прыгнул выше обыкновенного, и в то же мгновение вместо его заплясала перед мною дуга. Склонившись набок, я промчался еще несколько сажений вперед. Наконец последовал отчаянный скачок вниз, дуга скрылась, подо мной что-то грохнуло, блеснуло, я щелкнул зубами и очутился верхом на пристяжной. «Агледемшись», я увидел вверху целую стаю собак: все они, казалось, не решались приблизиться ко

мне по причине крутого спуска. Вскоре послышалось хлопанье арапников, и какие-то сиповатые голоса кричали: «Атрыш[34]! К нему! В стаю!» Вслед за тем между собаками появились две длинноватые тени, вроде человеческих.

По пересылке изрядного количества вопросов пунктов, сверху вниз и снизу вверх, две тени тотчас превратились в Сергея и Ваську, двух смиренных выжлятников[35] графа Атукаева.

Вскоре я вышел на сушу и с помощью выжлятников и прибывших на голос их двух псарей прежде всего пустился в розыски. Все оклики и призывы наши оставались без ответа. Вскоре, однако же, мы увидели среди луга четырех гончих, которые что-то обнюхивали. Мы пошли туда. Поместясь между двух мягких кочек, Игнатка лежал вверх носом и смотрел испуганными глазами. Только мой голос способен был вызвать его из этой немой созерцательности. Сложив все доказательства воедино, мы наконец привели его в чувство, но убеждение в том, что мы были обойдены лешим, он дал себе клятвенное обещание «со-

хранить по конец гроба жизни» и отправился вытаскивать лошадей из тины.

Между тем огни запылали снова; я подошел к одному из костров и вынул из кармана часы; стрелка показывала три. После часов глазам моим предстали три огромные фуры [36], такой емкости и величины, что каждая из них способна была поглотить самую многочисленную семью правоверного Кутуфты [37].

Одна из этих громад была на рессорах, длиннее прочих, и по множеству круглых окошек, прорезанных в обоих боках кузова, являла собою собачью колесницу. Кроме великанов экипажной породы, под сенью их стояли дрожки и другие крытые экипажи и, сверх того, смиренные русские телеги, вокруг которых, пятками и десятками стояло около шестидесяти лошадей.

Обрамленная с обеих сторон двумя отрогами леса, площадка вдавалась мысом в непроницаемую кущу ельника, под сенью которого белели две палатки, а подле них несколько шалашей, наскоро устроенных из ветвей, соломы, попон и войлоков.

Одно из пепелищ было обставлено треножниками, кастрюлями, котликами, ящиками, самоварами и прочими кухмистерскими принадлежностями[38]; кроме того, в разных местах было постлано множество соломы, на которой покоились борзые, или туго свернувшись крендельком, или на всем боку, нежно потягиваясь и выпрямляя усталые ноги.

Я раскурил сигару и занялся рассмотриванием подробностей этой картины. Псари и конюхи пробуждались поочередно и, выползая то из среды борзых, то из чащи, немедленно приступали к исполнению обязанностей; лошади начали потихоньку ржать и постукивать копытами, храбро поглядывая на приступивших с торбами к одной из фур для насыпки овса; то вдруг которая-нибудь из собак вскакивала, садилась на четвереньки, горбилась, зевала, вытягивала шею, и потом, сделав несколько вольтов[39] на месте, ложилась снова и свертывалась в клубок: эта перекладка на другой бок сопровождалась неизбежным рычанием одной или обеих соседок; иные из них были так неуживчивы, что вскакивали сами с явным намерением к драке: за-

тевалось общее ворчанье; в таком случае немедленно присоединялся к ним голос которого-нибудь из псарей: «Но-о! А-си-на! В свалку!» — и спокойствие водворялось. Но вот в палатке раздалось одно из многознаменательных побрякиваний, за ним про протянулось мягкое, эластическое: «Эй» — и два псаря по бежали к крайнему шалашу: «Артамон Никитич! Артамон Никитич! Граф проснулся!» В ответ на это раздалось громкое и быстрое: «Сейчас!» — и высокий стройный малый выскочил из шалаша в одном жилете. Он тотчас напялил на себя темный казакин[40] и, не мешкая, отправился к ящикам: вынул серебряный судок с пустым стаканом, под левую мышку захватил графин с водой, а в правую руку взял бутылку с фонарем.

Навстречу к нему из палатки вышла красивая борзая собака, потянулась сначала назад, потом наперед, потом уперлась на все четыре лапы, мощно встряхнулась, загремела ошейником и замахала хвостом, приветствуя Артамона Никитича.

Отправясь вслед за графином и бутылкой, я услышал вначале явственные признаки по-

лоскания графского рта, потом полоскание стакана и всплеск воды на траву, потом, когда вслед за этим всплеском стакан снова начал наполняться жидкостью, уже не из графина, а из бутылки, я успел раза два погладить мягкие и красивые завитки серого Чауса.

— Кажется, ночью был дождик? — спросил Атукаев своего камердинера после трех звучных глотков.

Я тотчас смекнул, что человек, имевший удовольствие размачивать себя в продолжение пяти часов, имеет полное право доносить о дождях, слякотях и прочих выскочках природы, а потому, не желая вводить в грех полусонного камердинера, входя в палатку, сказал:

— Был, и очень порядочный.

В ответ на это донесение меня встретили неизбежные: «Ба, ба, ба!» — и следующие за тем приветствия, что я свалился с неба.

— Просто-напросто твои выжлятники вытащили меня из какой-то трясины, — сказал я, усаживаясь на графскую постель, состоявшую из полукопны сена, застланной ковром.

После этого пошло в ход подробное описа-

ние моего путешествия, взамен которого, по примеру всех романистов, следовало бы заняться описанием графской особы но мы, надеюсь, успеем ознакомиться с ним и без этих предисловий.

— И прекрасно! — сказал Атукаев, выслушав до конца мое повествование. — Это тебе в наказание за прежние отказы потешиться вместе с нами. Ну, теперь как же ты хочешь поступить насчет дальнейшего странствования?

— Это будет зависеть от тех удобств, какие представит мне мой экипаж при появлении своем из болота.

— А по-моему, так эту статью придется поведи иначе.

— Как же?

— А вот как мы это устроим. Во-первых, ты, как приبلудная овца, волею-неволею прилепляешься к нашему стаду, и я, как пастырь, беру тебя под свою опеку. Второе и главное есть то, что у меня вчера был передох (дневка), и вечером подвыли пять голосов[41] в котловине да два отозвались в Асоргинских; поэтому мы нынче обедаем в Клинском, а ве-

чернее поле берем[42] в Глебкове; оттуда, как тебе известно, останется до дома всего-то восемь верст: следовательно, Игнатка твой откормит здесь лошадей и увезет на паре изломанную тележку домой; третья уйдет вместе с кухней и моими заводными в Клинское, а завтра возница твой, с новой таратайкой, явится нам в Глебково. Гут?

— Да еще какой гут! Просто на славу.

— Ну, и чудесно! Значит, ты теперь в моем распоряжении?

— В полном. Одним словом, я одна из самых послушных овец твоих, и попечительство начнется тем, что ты велишь тотчас подать мне стакан самого горячего чаю, потому что я продрог до костей.

— Ну, и прекрасно! Эй! Чаю!

В это время я отвернулся к стоявшему в углу фонарику, чтоб раскурить сигару, и вдруг почувствовал, как две ладони закрыли мне глаза, и звонкий тенор произнес над ухом:

— Узнал?

— Узнал, — отвечал я наугад, желая скорей освободиться; но этим не кончилось: я должен был выдержать полный курс обниманий,

прижнманий и лобзаний, и только по окончании этой давки мог явственно отличить высокую фигуру Луки Лукича Бацова от дубленого полушубка, облакавшего оную.

— Каков! Прискакал! Слышал, братец, слышал все, как ты там в болоте... Ну, да это пустяки! Вообрази, мы почти год, как не виделись, Ну, да это пустяки! А вот что: вчера подвыли семерых; а главное, вообрази, Карай-то мой, Карай! Третьего дня — лису матерую, то есть можешь ты себе представить, с первой угонки[43], как вложился[44] — джи!...

Лука Лукич не окончил еще начатого рукою жеста, выражавшего, по его мнению, ловкость и удальство Карая, как из соседней палатки послышался хорошо знакомый мне голос г. Стерлядкина.

— Врет, все врёт! Не верьте ему...

— Так и поволок, — продолжал Бацов, — Ну, что он там орет спросонков, эта щучья пасть! Не верь ему братец!... Он что ни скажет — все пустяки. Здравствуй, граф! А где же Хлюстиков?

— Эй! Подать сюда Петрунчика! — сказал граф людям. — Да он вчера так нахлестался,

что, я думаю, и теперь еще не пришел в память.

— Ничего! — кричал Стерлядкин из своей палатки, — это ему не в первый раз, да и не в последний. Здравствуй, граф! Каково спалось под дождиком?

— Хорошо. А у нас вчера что-то долго шла потеха. Ну, что: на чем решили?

— Известное дело, на чем. Карая нынче придется по хвосту.

— Слышишь, Лука? — сказал граф, обратясь к Бацову, — И ты в силах будешь перенести этот удар? А с кем идет?

— С Азарным! — кричал Стерлядкин. — На первого подозренного[45]; прибылые не в счет; да еще добро бы до первой угонки[46], а то прямо на завладай.

— Ого! Ну, что ты, брат Лука? Уж, видно, напрямик с ума спятил! Воля твоя, у меня вчуже сердце замирает. Добро бы еще на дюжину шампанского, а то, посуди сам, ведь это срам на всю жизнь.

Бацов молча покручивал усы; заметно было, что он начал трусить. «Пустяки», — сказал он, но уже не так громко и отчетливо.

— У тебя все пустяки! А рассуди-ка сам: Карай твой слова нет, собака добрая, во всех ладах, да молода; притом же, ты сам знаешь: псовая[47], пылкая, следовательно, накоротке [48]; сверх того, коли не осердишься, я скажу правду: он, брат, у тебя больно подуздovat[49]! А коли ты охотник с толком, так знай, что подуздovатая собака всегда непоимиста[50]. Куда ж ты заехал? Добро бы на садового[51]; да еще до угонки; а то давай нам подозренного, да материка[52]! Эх куда хватил! С Азарным — шутка! Нет, брат, я Азарного знаю...

Граф не кончил и начал вслушиваться. За палаткою шла страшная возня:

— Слышь, прочь, прибью! Подлец буду — прочь! Зарежу!...

Я выглянул из палатки.

В шалаше, из которого недавно появился камердинер, лежал маленький человек в зачьем полукафтани и размахивал ногами, отбиваясь от двух псарей, которые старались завладеть им. По голосу и складу бранчивой и отрывистой речи я тотчас узнал в нем Петра Сергеевича Хлюстикова.

— Тащи, тащи его! — кричал голос из па-

латки.

— Слышите, Петр Сергеич? Граф кличет. Поидемте! — говорил псарь.

— Пошел, дурак! Ты видишь: я сплю.

— Нельзя: приказано будить.

— У-у! Нельзя, нельзя, скотина! Прочь убирайся!

— Бери, тащи его! — раздался голос Бацова.

— Петр Сергеевич, Лука Лукич зовет...

— Лу-ка! Лу-кич! Скажи ему, что он такой же скот, как и ты!... А Карай — просто шалава...

В палатке раздался общий смех.

— Тащи, тащи его! — кричал Стерлядкин, выходя из своей палатки в колпаке и беличьем халате.

— Еще один! А-а-ай! Не буду. Голубчики, пустите!... Иду, право, иду! — кричал Хлюстик, барахтаясь на руках у псарей.

В палатку подали чай.

Хлюстик явился вслед за самоваром.

Украшенное тройным комплектом веснушек, лицо его было до крайности мало и в минуту выражало на себе тысячу различных оттенков. Темно-каштановые курчавые волосы,

наперекор всем прическам, постоянно убежали вверх, вообще же, сочетание всех мелких частиц этого лица носило выражение, порождавшее в каждом невольный смех. На взгляд Хлюстикова было лет около пятидесяти.

Он подобострастно подошел к постели Атукаева, который погладил его по голове и потрепал по щеке.

— Вот, Петрунчик, умница! Встал раненько, а теперь пойдет умоется, причешет голову и явится в нам молодец молодцом.

— И подадут ему стакан чаю, — прибавил Бацов, ударяя на слово «чай».

— Чаю... Дурак! Я не гусь... Эй, ча-ла-эк! Отставному губернскому секретарю[53], чуть-чуть не кавалеру[54], Петру Сергееву, сыну Хлюстикова — трубку, водки и селедки. Но-но! — Эти слова были произнесены подобающим тоном.

В минуту было подано то и другое.

Взявши в одну руку коротенькую трубочку, а в другую — налитую рюмку, Хлюстиков значительно подмигнул глазком, крикнул, плюнул, показал язык Бацову и мигом опорожнил рюмку, но в то же мгновение глаза

его выпучились, лицо сморщилось, он вздрогнул и сердито швырнул рюмку человеку под ноги.

Разразился общий смех.

— Пад-ле-цу-ксу-су-су... — шипел Хлюстиков, харкая и отплеываясь.

Наконец он жадно приступил к куренью. После трех сладостных затяжек перед носом Хлюстикова взлетел огненный фонтан от вспыхнувшего пороха, положенного на дно трубки, и Хлюстиков опрокинулся на графскую постель. Наконец он вскочил и с бранью убежал в шалаш.

Допив второй стакан чаю, я вышел из палатки.

Игнатка мои крепко спал, растянувшись перед пылающим костром. Испачканные в грязи и тине лошади исправно ели овес, спуская головы в изломанную тележку которая казалась вовсе не годною к употреблению. Вокруг меня все было в движении: псары оседывали лошадей; кучера впрягали других в брички и колесницу; повара укладывали кастрюли в ящики; выжлятники смыкали гончих; стремянный[55], с двумя борзятниками

[56] поддавливал графских сворных и пихал в колесницу. Между охотниками шли непрерывные перебранки и пересмешки, собаки выли, прыгали, вытягивались и махали хвостами, ластясь к своим хозяевам.

— Глядь-ка, глядь, Кирюха! Савелий Трофимыч знает-таки учливость, — сказал борзятник Егорка своему соседу.

Все обратились к колеснице.

Там, перед графским стремянным, стоял старичок-охотник, лет шестидесяти, без шапки, и низко кланялся; на руках у него лежала тощая борзая собачонка.

— Эх, Трофимыч, твою бы Красотку, замесь коляски, хоть и повыше куда вздыбить, так в ту ж пору.

Охотники засмеялись.

— И что вы, батюшка Ларивон Петрович! Собака — мысли; перед богом, не лгу. Не перебрамшись[57], слабосилок, в разлинке. А да-ка нам... Намедни, как по матером-то она с графской Заигрой, постреленок, ухо в ухо! Перед богом, не лгу... ажно седло подо мной затрепыхало... Поди, матушка, подь туды, подь!... — продолжал старик, сдавая свою лю-

бимицу стремянному на руки.

Собака мигом очутилась в рыдване и, глядя в окошко на удалявшегося Трофимыча, жалобно взвыла.

— Ишь, она к почету-то не привыкла, — сказал Егорка.

— Не замай, граф увидит! Она в те поры за сук уцепится, — отвечал Кирюха, затягивая подпругу.

Я еще раз взглянул на спавшего Игнатку, и мне стало жаль будить его. С правой стороны сквозь чащу просвечивала заря. Я пошел снова к палатке: там был слышен голос Бацова; граф был уже одет; Хлюстиков по-прежнему сидел на постели, подбоченясь, и, прищуря глаз, насмешливо поглядывал на Бацова.

— Это пустяки, — продолжал Бацов. — После этого ты станешь уверять меня, что я не человек.

— Конечно, разве ты человек! Ты — Бацов. Граф, голубчик, прикажи дать рюмочку!

— Петрунчик, ты душка! Кажется, намерен с утра сделаться никуда не годным, — сказал Атукаев, щипля его за щеку. — Этим ты меня очень огорчишь.

— Голубчик, ваше сиятельство! Одну только, право, одну! Я ведь по одной пью...

— Ну, нечего делать. Дай ему мадеры!

— Только побелей, этой, знаешь, великороссийской, из-под орла[58]... Кхе! — Тут Хлюстиков щелкнул языком, заболтал ногой и выразил многозначительную мину.

— А знаешь ли, за что его из суда выгнали? — спросил Бацов обратясь ко мне.

— Умны были, догадались... Эх, Бацочка моя, ты и того не смыслишь! Расталке муа[59]... Кхе!

Хлюстиков мигом опорожнил рюмку.

Люди начали снимать палатку.

Отдав наскоро кое-какие поручения своему кучеру я поспешил к обществу.

Шестьдесят гончих стояли в тесном кружке, под надзором четырех выжлятников и ловчего, одетых в красные куртки и синие шаровары с лампасами. У ловчего, для отличия, куртка и шапка были обшиты позументом. Борзятники были одеты тоже однообразно, в верблюжьих полукафтаниях, с черною нашивкою на воротниках, обшлагах и карманах. Рога висели у каждого на пунцовой га-

русной[60] тесьме с кистями. Все они были окружены своими собаками и держали за поводья бодрых и красивых лошадей серой масти.

Нам подвели оседланных лошадей; людям начали подносить вино.

— Ну, смотри у меня! — начал граф, обратись к охотникам. — На лазу[61] стой, глаз не раскидывай; проудил[62] — не твоя беда, прозевал — ремешком поплатишься. Чуть заметил, что красный зверь пошел на тебя, не зарься, дай поле. Поперечь, а то в щипец[63] нажидай... особенно лису: заопушничала подле тебя без помычки[64], на глади — стой, не дохни; а место есть на пролаз, тотчас рог ловчему посылай. Ты, Кондрашка, смотри, берегись: я видел в прошлый раз, как ты бацовскую лису, без голосу, втравил в отъемную вершину... А главное, на драку[65] без толку не подавать. У всех вас есть эта замашка; глядишь, чуть щелкнула которая, или там увидал полено[66] али трубу[67], и пошел клич кликать — и все, дурачье, сыплют к нему, а ловчий хоть умирай на рогу: «У нас, дескать, своя забота!» Вот я за вами сам начну при-

сматривать! Садись!

Люди начали садиться на лошадей: собаки радостно взвыли и заметались вокруг охотников.

Ловчий[68] со стаею тронулся вперед; за ним поплелась длинная фура с борзыми; доезжачие[69] разравнялись по три в ряд. Раздался свисток. Егорка поправил на себе шапку, потрянул головой, откашлянул и залился звонким переливистым тенором:

Эх, не одна в поле дороженька...

Еще свисток — и двадцать стройных, спетых голосов грянули разом:

Пролежала...

Вскоре и эхо в лесу крикнуло нам вслед:

Эх, зарастала...

Русское солнышко засветило нам с левой руки.

Отойдя с версту, мы увидели в стороне маленькую деревушку. Граф приказал охотникам идти до места, а мы повернули направо, и, в сопровождении стремянных, поехали рысью по узкой проселочной дорожке. У край-

ней избы стояли пять оседланных разномастных лошадей; возле них бродило около дюжины борзых и два человека в нагольных[70] полушубках, туго подпоясанных ремнями.

— Вот и наши мелкотравчатые, — сказал Атукаев, слезая с лошади.

Навстречу к нам выбежал из избы низенький, плотный, с крошечными усиками и распухлыми щеками, нестарый человек в сереньком казинетовом[71] сюртучке и начал раскланиваться на все стороны.

— Что, ваше сиятельство, заждались? А мы было тотчас только что... — лепетал он, пожимая с низкими поклонами руку Атукаева.

— Вот, прошу познакомиться: наш помещик Трутнев, — сказал Атукаев, обратясь ко мне.

— Очень приятно-с! Честь имею рекомендоваться, — лебезил Трутнев, шаркая ногами.

— Я, кажется, уже имел удовольствие вас встречать?

— Ах, да, виноват, у Трещеткиных... они, признаться сказать, немножко мне сродни... Здравствуйте, почтеннейший Петр Сергеич, мое вам почтение, Лука Лукич! Степану Пет-

ровичу!...

Трутнев остался на крылечке с Стерлядкиным; мы вошли в просторную крестьянскую избу: два окна на улицу и одно на двор, печка, полати, и кругом лавки; в красном углу стоял длинный стол; одна половина была густо исчерчена мелом и завалена картами, на другом конце красовался графин с водкой, а подле него солонка, кусочек черного хлеба и полуизгрызанный кренделек. Тут же, опершись локтем о конец стола и задумчиво спустя лысую голову, сидел осанистый мужчина в телячьем яргаке[72]; он держал между пальцев на весу погасшую трубку и, не обращая ни на что внимания, рассуждал сам с собою:

— Мо-шен-ник ты... валет семь с полтиной... па-роль проиграл! Са-а-вра-сого взять — нет, врешь, Во-лодька! — бормотал сидящий.

Явился человек, потер полою стол и убрал карты, потом протянул руку к графину.

— Ст-ой, дур-рак! Ку-да? — завопил рассуждавший. Он медленно поднял голову и уставил на нас глаза.

— Граб-бители! — произнес он, опускаясь снова, и уронил трубку на пол.

— Этот теперь ни на что не годен, — сказал Бацов.

Вбежал Трутнев и начал торопливо будить протянутого вдоль лавки мужчину в синем пальто, с густыми бакенбардами.

— Степа, а Степа, вставай! Граф приехал! Степа отбивался локтем и бормотал:

— От-стань, не хочу!... Ну, пошел!...

— Эк ты их усахарил! — сказал Бацов Трутневу.

— Степа... граф! — крикнул Трутнев над самым ухом.

Степа обернулся, оттенил глаза рукою, всмотрелся и вскочил как встрепанный.

В это время Хлюстиков овладел графином, налил рюмку и запел «Чарочка моя» и проч.

— Ах, m-r le comte! Mille pardons! Извините, право извините! — болтали Бакенбарды и кинулись будить лысину.

— Петр Иванович! Что ж ты? Мы все...

— Граб-ит-ел-и... у-к!...

Петр Иванович еще икнул и замотал головой.

— Ну, не замай его — травит тут, — сказал Бацов.

Мы вышли.

Полями, буграми, лощинами, перелесками, то тротом[73], то шагом проехали мы верст десять и наконец, спускаясь на луговину, услышали стройный хор песенников. Завидя нас, они перестали петь и начали поить у ручья лошадей и выпускать борзых из фуры. Освобождаясь от заточения собаки радостно взывали, прыгали, потягивались и ласкались к лошадям и охотникам. Некоторые из них стрелой помчались к нам и с радостным визгом начали прыгать на седла к своим господам.

— Ты, Ларка, — сказал граф стремянному, — возьми к себе Обругая, Крылата и Язву; а мне к Чаусу Злоима и Наградку, а Сокола и Пташку отдай тому охотнику, которого вот им, — граф указал на меня, — угодно будет взять к себе в лаз.

Пока я благодарил графа за внимание, стремянный ловко подвернулся ко мне и шептал:

— Возьмите, сударь, кума Никанора: у него собаки приемисты[74].

Это предложение мне не понравилось: я

метил на удалого малого, Егора.

Мы подъехали к стае.

— Ну, выбирай любого, — сказал Атукаев, обратясь ко мне, — Они у меня все знают свое дело.

У каждого из охотников, на которых я мельком взглядывал, просвечивало в глазах сильное желание попасть ко мне на барский лаз. Не желая быть невнимательным к предложению стремянного, я решился одним камнем сделать два удара.

— Кум Егор, со мной! — сказал я отрывисто.

— Эх, сударь, забыли! Я вам докладывал: Никанора, — шептал стремянной.

— Ну, брат, извини! Промахнулся!

Егорка с радостным лицом подбежал ко мне и принял на свору Сокола и Пташку.

Поднявшись на крутой бугор, мы проехали с версту полем и остановились у котловины.

Граф пригласил гостей и приказал доезжачим занимать места.

Стая гончих и красные куртки тотчас отделились от нас и медленно потянулись вверх.

— Сударь, не извольте отставать от графа, — шептал Егорка, — Он пойдет налево, за эти дубки: там, я знаю, лучший лаз. Вишь, бацовский стремянный так и пялит туда свои бельмы!

Мы спустились и поднялись из оврага, проехали саженой двести полем и кустарником и остановились в голове обрывистой водомоины, которая, расширяясь постепенно, сливалась с котловиною. Граф и стремянной потянулись от нас за дубки.

Стратегическое достоинство пункта, избранного Егоркой, если и не удовлетворяло всем потребностям, нужным для опытного охотника, зато зрению моему было чистое раздолье. Под ногами у нас неизмеримо длилась глубокая впадина земли, образовавшая собою болото, с высокими кочками, заросшими густым олешником[75] и камышами.

В широкую ложбину эту, так кстати названную котловиною, врезывались со всех сторон покатые бугры, пересекаемые лощинами, оврагами и водомоинами. Пункт, на котором остановились мы, владел всей местностью, и я мог отчетливо следить за движением

ем охотников и вместе с тем любоваться сметливостью каждого из них при занятии мест. То исчезая, то вырастая словно из земли, красные куртки ловчего и выжлятников медленно плыли по горизонту. Наконец они утонули в лабиринте спусков и только через четверть часа показались снова на скате высокого холма, поехали прямо на нас и вдруг остановились. Стоявшие на местах охотники были все на виду: в соседстве со мной, налево, саженьях в полутораста, был Ларка-стремянной, а за ним, дальше, граф; направо, в кустарнике, через который мы прошли, помещился старик Савелий Трофимыч со своею Красоткой.

Прошло минут пять в бездействии; наконец Атукаев приложил серебряный рожок к губам: раздался короткий и трескучий звук; старший доезжачий тотчас повторил его на другой стороне ложбины, поближе к ловчему; сигнал этот, в переводе на язык человеческий, означал: «Мечи гончих в остров[76]!» Я явственно увидел, как четыре красные куртки упали в стаю; ловчий один поехал медленно с бугра, и к его ногам, словно мухи, покати-

лись разомкнутые гончие, отрываясь попарно от темного пятна, посреди которого копошились красные куртки; наконец они остались одни и, мгновенно вскочив на лошадей, помчались вниз, вслед за остальными гончими. На краю болота заревел басистый рог ловчего, хлопнули сразу четыре арапника[77] — и пошло порсканье[78].

— Теперь, сударь, извольте становиться на место!

— Разве я не на месте?

— Нет. Теперь нам нужно в притин[79], — сказал Егорка. — Извольте видеть? — продолжал он, указывая на окрестность.

Я взглянул. Действительно, места, на которых за минуту до этого стояли охотники, были пусты. Все они расползлись, словно мухи по щелям.

— Куда ж нам?

— А вот, — сказал Егорка и поворотил лошадь.

Мы выехали в густой куст ивняка, из-за которого можно было видеть только одни наши головы; местность отсюда открывалась еще явственнее.

Вскоре к порсканью присоединился голос одной собаки.

— Это Будило, — сказал Егорка.

К первому голосу примкнули еще два, такие же басистые.

— Это Рожок и Квокша, — продолжал мой стремянной.

Красные куртки зашевелились в болоте и начали накликать «на горячий»[80].

— Что ж это значит?

— Это еще ничего! Вот кабы Кукла да Соловей!... А вот и он!... Эх, варят[81]... подваливают[82]... Ну, повис на щипце[83]! Теперь, барин, держитесь крепче: лошадь под вами азарная.

Я укоротил поводья, укрепился в седле и взглянул Егорку: он дрожащими руками перебирал узду и выправлял свору; лицо его бледнело, рот был полураскрыт, глаза светились как у молодого ястреба.

Ловчий подал в рог.

— По красному, — сказал Егорка, чуть дыша. С этим словом в котловине закипел ад: с фаготистыми и на подбор голосами собак слился тонкий; плакучий, переливистый и

неумолкаемый голос Куклы; к ней подвалили всю стаю, и слилось заркое[84] порсканье. Камыш затрепал, болото пошло ходуном и словно вздрагивало и колебалось под громом этого бесовского речитатива.

— Ну, одна катит! — прошептал Егорка, глядя в болото.

Я тоже начал всматриваться.

Лисица тихо прокрадывалась мимо нас по болоту и, как тонкий осенний листок, стлалась между кочек, то поднимая свою вострую головку, то припадая к земле; она наконец миновала наш лаз и, подбуженная новым приливом порсканья, вынеслась на бугор и покатила прямо в кусты. Старик Трофимыч стоял не шевелясь; наконец он заулюлюкал, указал ее собакам и скрылся из вида.

В то же время на противоположной нам стороне в разных местах охотники принялись травить в несколько свор.

Мне почудилось наконец, что стая погнала в нашу сторону, и действительно, через минуту что-то начало ломиться в камыше; вскоре затем выкатил матерой волк и понесся по кочкам, прямо в вершину, в голове которой

был наш секретный пост.

— Егорка, видишь? — спросил я шепотом.

Егорка мой стиснул зубы и только дрожащею рукой подал мне знак пригнуться: он блестящими глазами своими, казалось, прожигал куст, сквозь который смотрел на волка.

Наконец зверь очутился противу нас, саженьях в десяти; Егорка молча показал его собакам и бросил свору из рук. Пять собак рванулись разом, и Сокол первый, грудь в грудь, сцепился с волком: оба они слились в одно неразрывное целое, покатались по земле и исчезли в водомоине; прочие собаки скупились и прыгнули туда же; мы очутились там же, но, — увы! — раздался пронзительный визг, и храбрый наш Сокол, облитый кровью, катался по земле; волк сидел, оцелкиваясь от прочих собак, которые не смели к нему подступить. Егорка подал на драку, но зверь прыгнул на чистоту, принял направо и поскакал полем. Недолго, однако ж, длилась эта прыть: в рытвине, противу нас, мелькнула шапка стремянного и в то же время три свежие собаки понеслись навстречу дерзкому беглецу.

Волк не устоял противу первого напора приемистых и свычных с делом бойцов: он оробел, оцелкнулся и пошел наутек, но Крылат и Обругай повисли на нем; наши собаки подоспели, скучились, и свалка сделалась общою; прежде, однако ж, чем мы успели подскатать, волк стряхнул с себя кучу собак и, оцетинясь, сел в кружку, страшно сверкая глазами; подле него катался по земле Обругай с прокушенным боком. Егорка прыгнул с лошади и пошел к волку с кинжалом в руке. Видя нового врага, расвирепевший зверь рванулся отчаянно вперед и побежал оцелкиваясь от собак, мимо дубов к кустарнику. Но вот из-за куста, между полынью, шмыгнуло что-то, со свистом, как спущенная стрела, и серый Чаус в мгновение ока сцепился с зверем и покатился с ним по пашне; собаки налетели на них гурьбой, и из них образовался один неразрывный клубок.

К нам подскакали старик Савелий и граф.

И вот в середине этого кружка что-то сильно поколебалось; собаки разлетелись врозь, и посреди них, как два достойные бойца, волк и Чаус поднялись на дыбы, схватились яростно

и снова грянулись на землю; собаки снова накрыли их плотною броней.

Граф приказал принять зверя.

Охотники прыгнули с лошадей, и Егорка первый, схватя волка за заднюю ногу, всадил ему в пах кинжал по рукоятку; собаки отскочили; на земле остался один только Чаус: пасть его впилась в волчье горло и замерла нем; зверь, хрипя, лежал в растяжку; стремянной бросился к Чаусу и рознял ему пасть кинжалом.

Храбрый боец при общих похвалах отошел тихо в сторону и снова пал на землю, сильно дыша; из горла у него валила клубом кровавая пена; налитые кровью глаза блестели, как раскаленные угли.

Егорка с радостным лицом принялся вторачивать волка, как трофей, принадлежащий ему, по правам охоты.

— Ваше сиятельство! Честь имею поздравить вашу милость с полем, батюшка! — сказал старик Савелий, снимая шапку.

— И вас также, Савелий Трофимыч! — отвечал граф весело, подражая старику в ухватках.

У Трофимыча была в тороках[85] лиса.

Мы спешили и пошли левым берегом котловины, весело разговаривая о событиях удачной травли. Я гладил Чауса, который шел подле графа и сделался смирен, как овца. Атукаев был очень доволен быстротою действий и сметливостью своих охотников.

Ловчий, стоя на бугре, вызывал на рог гончих из острова: мы подошли к нему; вскоре и прочие охотники начали туда съезжаться.

На той стороне котловины затравили двух волков прибылых, лисицу и несколько зайцев. Каждый из охотников, рассказывая подробности травли, приписывал своей своре необыкновенные достоинства; но все они, однако же, завистливо поглядывали на торока Егоркины, потому что подобного волка никому еще из них не случилось возить за своим седлом.

— Сорок лет сижу на коне, ваше сиятельство, — повторял Трофимыч, — а таких не принимывал!

В это время к нам подъехали Бацов и Стерлядкин с прочими господами.

— Посмотри-ка, Лука Лукич! — сказал я,

указывая на волка.

— Это, братец, пустяки; а ты вообрази себе, Карай-то мой, Карай, опять лису так вот: джи!...

— Где ж она? — спросил Стерлядкин.

— Ну, вот, у Кирюхи, — отвечал Бацов, указывая графского охотника.

— Значит, ты травишь в чужие торока!
Все засмеялись.

В Асоргинских до обеда мы еще затравили одного волка и двух лисиц, и ровно в час за полдень жители Клинского, все, от мала до велика, выбежали за околицу встречать наш поезд. С гордым и веселым видом, с бубнами, свистками и песнями вступили удалые охотники в деревню, обвешанные богатой добычей.

У новой и просторной на вид избы стояли походные брики[86], а на крылечке — люди и повара, ожидавшие нашего возвращения.

С шумом, весельем и смехом вскоре уселись мы за стол. Во время обеда граф поочередно призывал к себе отличившихся охотников, выдавал им определенную награду за «красного» и потчевал вином. Уже подали

нам жаркое и в стаканах запенилось искристое вино, когда вошел старик Савелий с своею неразлучно Красоткой.

— Ну, старик, поздравляю, с полем! — сказал граф. — Говорят, что Красотка хорошо скачет? Отчего она худа?

— В разлинке, батюшка ваше сиятельство, не перебрамшишь!

— Это за красного, а Красотку дарю тебе за усердную службу.

— Много доволен вашей милостью, — сказал старик. — Навсегда вам слуга, ваше сиятельство!... Сорок лет на коне сижу... Еще покойному дедушке вашему, графу Павлу Павловичу, служил верою и правдою; перед Богом не лгу... — продолжал он, утирая рукавом радостные слезы.

— Старик, продай мне Красотку, — сказал Бацов, подавая ей кусок пирога.

— Как продать-то, барин?... Свой выкормок, сударь, батюшка, самому-то не при чем быть... на старости лет, ни роду, ни племени, одна племянница была — и тое Господь Бог прибрал.

— Ну, что ж? Ведь Красотка тебе не внучат-

ная? — возразил Бацов.

Старик посмотрел вначале на Бацова, потом на Красотку, и потряс головой.

— Нет, сударь, не продажная!

Мы встали.

II

Спор. — Тамбовская идиллия. — Подозренный. — Карай и Азарной. — Травля. — Явление из болота. — Застава из благородного материала. — Плен. — Новооткрытый способ продовольствовать армию. — Ганька и Мотрюха. — Новый инструмент. — Предмет сатисфакции[87]с бабушкой. — Ужин под столом. — Дверь невидимка. — Побег.

После обеда между охотниками начался жаркий спор с различными шутками, прибаутками и прочими вариациями. Стерлядкин отпускал остроты насчет Бацова и ловко над ним подтрунивал; последний возражал, горячился, отбранивался, но все это было у него как-то невпопад, как говорят —

«не в строку». Меня одолевала дремота, но уснуть не было возможности, потому что волею-неволею я обязан был состоять в роли свидетеля и посредника.

— Ну, ты, скажи, пожалуйста, так ли это все было, как я говорил? — обращался ко мне Атукаев, рассказывая о подвиге Чауса.

Вслед за тем Бацов, в споре со Стерлядкиным и прочими, приступил ко мне с умоляющим видом: «Ну, ты, как сторонний человек, уверь их, пожалуйста» — т. п.

Правду сказать, не выдавши по дальности расстояния ничего, что делалось на той стороне котловины, я брал многое на совесть, но, не желая оставить в одиночестве бедного Луку Лукича, поддерживал его, сколько мог.

Вскоре, однако же, этим разговорам положен был конец. Вошел стремянной и доложил Атукаеву, что к нему припожаловал пастух Ерема.

— Ну, вот кстати; давай его сюда! — проговорил граф стремительно. — Вот вам, господа, и конец всем басенкам, — прибавил он, обращаясь к Бацову и Стерлядкину. — Верно, есть подозренный.

С этим словом в отворенную настежь дверь протиснулся необычайного вида человек. Ростом он был — косая сажень, лицом страшен, борода включена, в нечесаной голове торчали солома и ржаные колосья. Наряд его состоял из лаптей, посконных затасканных портов и побуревшего сермяжного полукафтаны с множеством заплат и отрепанными рукавами; под мышкой держал он баранью шапку, а в правой руке такую палицу, ой-ой! При взгляде на это страшилище мне тотчас вспал на мысль Геснер[88], с его Меналками, Дафнисами, Палемонами и со всею вереницею пригоженьких лиц, удержанных памятью из детского чтения. Поверх кафтана, от дождя Ерема драпировался толстою неудобосгибающейся и не идущей в складки дерюгой, накинутой на плечи в виде гусарского ментика[89].

Помолясь святым, Ерема поклонился всей честной компании, отшатнулся к притолке и загородил собой дверь.

— Что скажешь, Ерема? — начал граф.

— Русачка обошел, ваше графское сиятельство! — произнес Ерема таким голосом и то-

ном, по которому можно было понять сразу, что этот страшный и неуклюжий детина был простейшее и добрейшее существо.

— Хорошо. А где лежит? На чистоте? Травить можно?

— Как же, батюшка! В Мышкинских зеленях[90], на мышци[91]. Трави — куды хошь. Матерой русачина; сулетошний[92]. Он самый, батюшка, безобманно...

— А, ну, если только он, так спасибо! Вот тебе за усердие, — граф подал ему целковый рубль, — а эти господа еще от себя прибавят. Только смотри, тот ли? Пожалуй, вместо его, ты насадишь собак на какого-нибудь настовика[93]! Как бы нам не сплеховать!

— Будьте в надежде, батюшка, ваше графское сиятельство, он самый; уж я к нему пригляделся: что ни день, почитай, выдаю. И к скотине приобык... энто, нарочно нагоню стадом, — только что ужимается, пес, да уши щулит[94]... лобанина такой...

— Ну, вот вам, господа, и делу конец! — сказал Атукаев Стерлядкину и Бацову. — Вот и увидим, чья возьмет. А уж русачок, рекомендую, распотешит дружков, если это лишь

тот, которым я прошлый год потешался раз до трех. Так уж скажу наперед — одолжит! Будет за кем повозить воду! Ну, Лука Лукич?

— Что ж, пустяки, — отвечал Бацов, выпуская обильную затыжку дымом, но в этих как-то небрежно сказанных словах уже было заметно раздумье.

— Этак, пожалуй, мы, не долго думая, и на попятную... — прибавил Стерлядкин.

— У, щучья пасть! На попятную! Кто на попятную? Ты, что ли, пойдешь?

И у Бацова с Стерлядкиным пошли перекоры. Пользуясь их увлечением, граф подмигнул мне глазом, и я пошел с ним в соседнюю светелку.

— Поддерживай, пожалуйста. Луку! — сказал он почти шепотом. — Мне хочется, чтоб он отравил этого барышника (Стерлядкина): уж он слишком допекает бедного Бацова, а Карай, может быть, и оскачет: собака по породе выше Азарного.

— Что ж, господа, полноте вам спорить, не видя дела. Хотите сажать[95] — уступлю вам зайца, а не хотите — мерять своих молодых, — сказал Атукаев, входя обратно.

— Вот тебе и весь сказ! — возразил Стерлядкин Бацову. — Идет, так? Я не отступаю от вчерашнего уговора... Только не иначе, как на завладай, и заднюю по хвосту. Мне не жаль собаки...

— Ну, вот, что ты меня, дурака, что ли, нашел! Пущу я на завладай с осенистой[96] и втравленной собакой! Тебе говорят русским языком, что Карай — погодок[97] и скачет щенячью... До угонки, изволь. Я те вставлю очки! Разве я не видал твоего редкомаха[98]? За псарскими воду возит; а тут... Пустякн, брат... ты меня храбростью не удивишь!

— Ха, ха, ха! Вот он каков! А вчера как ривсовался?

— Полноте, господа, кончайте! К чему тут в далекое забегать? Еще собак вздумали портить!... Померяли — и конец... Вы за славу, а мы за вас попридержим. Ты за кого держишь? — спросил меня граф.

— Я? Теперь пока не знаю. А вот взгляну, которая покажется, — отвечал я.

— Ну, и прекрасно! Так идет, что ли, господа? Велите ввести собак.

— Да к чему и вводить? У нас семь пятниц

на неделе. А там, пожалуй, чего доброго, еще и разревется, как тюлень на льду, — произнес как-то свысока и самонадеянно Стерлядкин, поднимаясь со стула.

— А ты, щучья п... — начал было Бацов с свойственной ему быстротою и энергией, но граф не дал ему кончить. Все мы приступили к состязателям и уговорили их «мерять собак» просто, а сами вызвались присутствовать в качестве судей и общим приговором утвердить славу за быстрейшей.

Послали привести собак на погляденье. Первого — Азарного — ввел Стерлядкина стремянный на своре. Это была муруго-пегая [99], чистопсовая [100] собака, собранная вполне, рослая, круторебрая, на твердых ногах, но собака скамьистая [101] и с коротким щипцем. Увидевши своего господина, она степенно подошла к нему и положила голову на колено.

Вслед за ним, на свист Бацова, вихрем влетел Карай в комнату и, прыгнув к нему на грудь, заскиглил [102] и замахал хвостом.

— Ох ты мой... шалунок!... — приговаривал Бацов, лаская своего любимца. Карай спустился на пол и начал бегать и обнюхивать.

Это была очень породистая густопсовая[103] собака, почти во всех ладах[104]: он был немного лещеват, но с крутым верхом[105] и на верных ногах сухая голова, глаза на выкате, тонкий щипец, хотя немного подуздоват[106]. Глядя на этого, с черною лоснящеюся шерстью и проточиной[107] на лбу, белогрудого красавца, видно было, что он еще не опсовел[108] и по молодости не сложился вполне, но по ладам и «розвязи» нельзя было не предпочесть его Азарному.

— Ну-с, ваше сиятельство, — сказал я полусуто, — если б пришлось попридержать, я бы не отстал Карая.

— И прекрасно, — отвечал Атукаев, — а я, пожалуй, потянусь за Азарным.

Трутнев подобострастно примкнул к графу и хвалил Азарного; г. Бакенбарды молча управлялся с недопитым стаканом.

Карай, как будто понимая мои слова, прыгнул ко мне на грудь, но эта минутная ласка ничего не значила в сравнении с тем взглядом, каким подарил меня Бацов.

Через полчаса охота в полном составе тронулась с места. Сопутствуемые ватагой маль-

чишек, мы выехали за околицу. Граф приказал ловчему идти в Глебково, но если не будет дождя, остановиться в завалах, где надеялись найти лисиц; ловчий со стайей и охотниками принял налево и пошел торной проселочной дорогой; мы же, по следам Еремы, разравнялись и поехали прямо полем. Кроме Карая и Азарного, с нами не было собак. Впереди всех, держа по-прежнему шапку под мышкой, широко шагал наш необыкновенный вожак: он, казалось, продвигался вперед очень медленно, но лошади наши постоянно шли за ним тротом; вскоре начались зелены, и посредине их возвышался небольшой, засеянный рожью курган; налево это озимое поле отделялось от овсяница широким рубежом, и тот же самый рубеж загибал под прямым углом и тянулся направо по легкому скату в болотную ложбину, поросшую кустарником и молодыми березками, где и заканчивались озими.

Поднявшись на темя теперь почти незаметного для нас возвышения, казавшегося издали плоским курганом, пастух остановился и показал прямо на низину поля, где, саженьх в сорока от нас, был круглый мшарник[109],

или, лучше сказать, не засеянный рожью мочеви́нник[110], каких бывает множество в озимых полях: желтая сухая трава ярко отделялась от окаймлявших ее густых зеленей.

— Ну, как, сударики, прикажете? Куда гнать будем? — спросил Ерема Бацова и Стерлядкина.

— Да он здесь? — спросили оба разом.

— Тутотка, вон, влеве, к самой головке.

— А куда передом? Ты видел?

— Да так вот, на вынос, в угол, к рубежам.

— Не хлопчите, господа! — сказал граф. — Если это русак и материк, так я вас уверяю, что он потянет рубежом; другого ходу у него быть не может, и как вы ни отъезжайте, а на жниво вам его не сбить, скорей же заловят на зеленях, если осият.

— Как же поднимать? — спросил Бацов.

— Просто спуститесь на вашу грань — и катай из-под арапника. Сосворьте собак.

— Кому ж показывать?

— Да вот хоть мой стремянный. Ларка, — продолжал Атукаев своему стремянному, — насади собак и доскакивай! А ты, Лука Лукич, отдай свой арапник Ереме: он поднимет руса-

ка. Да не путай же своры, экая горячка! Смотри, точно на эшафот его ведут! Ну, брат, вижу, ты огневый!...

И точно, отдавши арапник пастуху, Бацов принялся сосворивать собак; я заметил, как, пропуская свору узлом внутрь, дрожащие руки его едва попадали в кольца.

— Что он делает? — крикнул граф. — Смотри, Лука, как ты сосворил? Ты захлеснешь кобелей на мертвую петлю или сам полетишь с седла!

— Ах, да не торопите... вижу!... — приговаривал Бацов, суетливо вымахивая свору назад.

Наконец, уладивши дело, он очутился в седле.

— Що ж, аль пугнуть? — спросил Ерема, бросая палку и шапку.

— Погоди, вот барин станет на место, — сказал граф.

Бацов спустился саженой на десять по ска-ту.

— Довольно! — крикнул ему Стерлядкин. — Тут и двадцати саженой не будет.

— Ступай теперь, хлопай у края, — сказал

граф. — Да не кричи, как вскочит!

Пастух, с кнутом в руке, отправился во мшарник. Стремянный подобрал поводья и стал саженьях в десяти ниже Бацова.

Минута тревожного ожидания настала для всех. Мне очень хотелось взглянуть в лицо Бацову, но он стоял к нам спиною и глядел вперед. Все молчали; один только Трутнев шептал что-то Бакенбардам. Мне почему-то казалось, что Ерема и век не доползет до мшарника... но вот он очутился на краю, между кочками, посмотрел на нас и хлопнул; со вторым хлопком заяц поднялся с логова: он был почти голубой, потому что выцвел и, несмотря на раннюю осень, начал затирать пазонки[111]. Пошел он не во весь бег, а перетраивал, поднимал уши, вслушивался и, пригнав круто налево, держал прямо к рубежу.

— Вот так детина! — промолвил граф, любясь выступкой русака. — С таким чертом едва ли они сладят! Этот даст себя знать!

С первым прыжком русака стремянный пустился рысью и, указывая на него арапником, приговаривал: «О-то-то-то!...» до тех пор, пока не увидел перед собою собак, после чего

он пустил лошадь во весь опор и зарко заухал.

Как передать простым, текучим словом невыразимую быстроту и изменчивость той картины, которая развилась теперь перед нами — ясная, живая, но едва соследимая глазом?... Мы говорим: полет сокола, блеск молнии, но что нарисуют эти слова в понятии человека, слепого от рождения и не видевшего ни лета соколиного, ни синего неба, ни черных туч с их огненной утробой[112]!...

Бацов выдержал себя молодцом; он подал собак вовремя, по-охотничьи, по первому звуку голоса доезжачего, и сам остался на месте. Собаки помчались ухо в ухо по лошади; Азарной первый воззрился[113] в русака, но прыть его длилась только мгновение: завидя зверя. Карай пахнул мимо его и, оставя далеко за собою, круто, щегольски угнал русака, то есть «поставил ушами назад» и сам пронесся далеко в сторону; громкое, единодушное «браво» сопутствовало ему; мы тихо спустились и окружили Бацова.

Азарной, по следам Карая, примерялся, вложился, но разъехался с русаком легко, и

быстроногий зверек в мгновение ока отрос [114] от него и очутился на рубеже, и пока сладились и возрелись собаки — он был уже далеко. Азарной первый пошел по нем рубежом, но тут ему суждено было осрамиться окончательно. Растерявшись от своей первой заркой угонки, Карай не скоро сладился и, не видя зайца, пошел по Азарном, но в тот миг, когда взглянул на русака, он собрался сразу, объехал Азарного «с ушей» и отделился от него настолько, что тот, скача сзади с натугой, казался словно стоячим, или, говоря языком охотника, начал «удить».

Взрыв общего одобрения раздался вокруг меня, но он был ничто в сравнении с тем необъяснимым звуком человеческого голоса, какой послышался мне с правой руки. Я взглянул на Бацова: он был бледен и смутно глядел вперед; рот у него был открыт, губы дрожали, он, мне казалось, был близок к помешательству... Да, глядя на Бацова, я только теперь понял значение слова «охотник». Нет, это не простой, обыденный, понятный каждому термин: в нем есть кое-что такое, чему, может быть, посмеются, но не разгадают, не

поймут многие...

Но вот с страшной силой и неуловимой для глаза быстротой Карай швырнул зайца с рубежа на озими, и сам полетел кубарем; от этого внезапного толчка оторопевший русак понесся прямо в пасть к Азарному. Новое «браво» нашего кружка приветствовало удальца, молчал один только Бацов.

Заложась навстречу к зайцу, Азарной скололся, свихнул его к рубежу, повис на нем и держал долго на щипце, но осилить не мог; Карай, справившись, снова швырнул русака от рубежа. Сбившись на зелени, заяц начал уседать, норовя все-таки достичь другого рубежа, но Карай не давал ему хода; раза два собаки скучивались, залавливали, и мы слышали даже, как стремянный отгокал[115] их... но видно, что и тут пришлась по Сеньке шапка: в тот миг, когда обе собаки скучились и я считал уже зайца пойманным, он прыгнул на сажень вверх и, пока собаки слаживались, очутился от них саженьях в двадцати и катился по рубежу прямо в кусты. Настал последний дебют для Карая, заискавшего уже общее сочувствие: все постепенные впечатления для

глаза исчезли при виде той заркости и быстроты, с какой он снова подоспел к русаку и швырнул его с рубежа на соседа жниво, но сам уже не пошел с места; зайцем завладел Азарной и, скача за ним «в намах», проводил в кусты.

Бедный наш Карай, сидя на месте с поднятой ногой жалобно взвизгивал. Бацов проговорил что-то неопределенное и помчался во всю прыть к своему любимцу; мы тоже поскакали вслед за ним.

Когда мы остановились, Бацов сидел уже на рубеже и держал на руках Карая. Из передней лапы у него текла обильно кровь. По осмотре раны оказалось, что он сорвал передний ноготь. У пылких собак это бывает зачастую, особенно если неопытные и горячие охотники травят ими в позднюю осень по мерзлой пашне.

Впрочем, сорванный ноготь, кроме сильной боли на первых порах и двухнедельной хромоты, пока образуется молодой ноготок, худших последствий за собой не влечет.

Все мы обрадовались этому незначительному случаю, тем более, что, скача за Бацо-

вым, граф и прочие охотники полагали увидеть собаку с переломанной ногой.

Подъехал Стерлядкин и волею-неволею начал поздравлять и приветствовать своего соперника; но он не успел промолвить и пяти слов, как за ложбиной послышалось отчаянное: «Ату эво!» и протравленный нами русак вынесся обратно из кустов по рубежу прямо к нам; его гнал Азарной и пять новых собак, а за собаками, на рьяном коне, не разбирая ни кустов, ни кочек, без шапки, поблескивая лысиной, с висками на отлете, выскочил в полном смысле слова, из болота Петр Иванович! Заяц увидел нас и вильнул в сторону; Карай возрелся, рванулся взвизгнул, помчался, и на том месте, где он встретил русака, последний, лежа на боку, только потрепыхивал лапками: Карай убил его грудью.

— О-го-го-го! — загудел Петр Иванович, скакивая с лошади, в то время как Азарной и его собаки накрыли убитого русака. — Атрыш! Атрыш! — закричало все наше общество. Графский стремянный очутился тут же.

— Отпазончи[116] русака и вторачивай [117] в свои торока, — сказал ему Трутнев.

— Как это? Что такое? Я травил... да это разбой, господа!... Это... я... Отнять насильно — пожалуй... а в противном случае я не позволю... Я...

— Ну, что ты мелешь, не видав дела? — перебил его Трутнев. — Ты выслушай наперед.

Все наперерыв принялись объяснять Петру Ивановичу обстоятельства дела; он слушал внимательно и с увлечением повторял:

— Он... с рубежа... опять... с Азарным! Фу, черт, знатно!... Лихо! Лихо! А что, я говорил вам, господа прибавил он, обратясь к Бакенбардам и Трутневу, — Карай будет дивная собака! Я это вижу по ладам. Ну, Лука Лукич, поздравляю!

Подъехали два человека Петра Ивановича и привезли отысканную в болоте шапку; стрелянный отпазончил и второчил русака.

Все мы обратились к Бацову и дружно поздравляли его с полным успехом; Стерлядкин тоже усердно вторил нам; Бацов, глядя на нас молча, был как-то сановит, тих и серьезен; он еще не успокоился и был словно в угаре после таких сильных и дорогих охотнику впечатлений, испытанных в столь короткий срок. Ка-

рай сидел подле него и зализывал больную ногу. Ерему все оделили щедро.

— Господа, пора нам тронуться; времени остается немного, — сказал Атукаев, глядя на часы.

— Нет, о, нет! Ваше сиятельство, как можно? Надо замочить лапки; а то что ж это будет?... Что мы за охотники после этого? А ночевать ко мне, господа, — прибавил Петр Иванович, — я уж так распорядился. Граф, Ваше сиятельство, ночевать ко мне... — И Петр Иванович, принимая от своего стремянного флягу, пропел со всеми онерами известную охотничью песню: «Выпьем, други, на крови...»

Но выпил только Петр Иванович, прочие отказались.

Верстах в пяти от места нашли мы охоту; когда мы очутились близко от экипажей, стоявших на лугу, в стороне от дороги, из одной брыки выскочил Хлюстиков и пустился вприсядку; он был уже «в своем виде», то есть пьян.

— А, Петрунчик! Так-то держишь слово? — произнес грозно Атукаев. — Ты хотел спать, а теперь «в положении». Кто это его употчевал?

— Н-не изв-вестно-с, — отвечал повар, стараясь держаться как можно прямее.

— А, понимаю, — продолжал граф, глядя во все глаза на своего приспешника.

— Не изв-вольте сумлеваться... васьсьво... мы не токма, что ни-чево-с... обидно, васьсьво!... Во как горько, обидно!... — Повар застучал кулаком по груди и прегорко заплакал.

— Прибрать их в фургон! — сказал граф людям.

Петрунчика и обиженного подхватили на руки и, как мешки с мякиной, попихали в собачью фуру.

Стерлядкин простился с нами и, взяв обещание со всех завтра у него обедать, пересел в дрожки и отправился домой.

Мы кинули гончих в соседний остров и до сумерек затравили русаков двадцать на котел, то есть для собак. В то время, когда я подъезжал к острову вместе с Бацовым, граф обусловил нас не соглашаться на предложение Петра Ивановича ехать к нему на ночлег.

— Мы ночуем в Глебкове, как дома, а тут эти господа налижутя непременно и не дадут спать до утра, или, что всего хуже, затра-

вят нас клопами; я уж это испытал, — прибавил граф.

И точно, во время гоньбы Петр Иванович подъезжал к Атукаеву и к нам. Тот ссылался на нас, а мы отказались наотрез. Петр Иванович, успевший уже порядочно подбодрить себя, в самый разгар гоньбы ускакал с людьми и собаками домой. Быстрые осенние сумерки застали нас в ту пору, когда мы вызвали гончих из острова. Сдавши собак, мы с одним стремянным пустились на рысях до нашего ночлега. Дело в том, что нам никак нельзя было миновать усадьбу Петра Ивановича, которая была всего-то в двух верстах от Глебкова. Мы условились пронестись мимо дома на марш-марше и тем избавиться от объяснений в случае, если бы даже сам Петр Иванович, стоя у ворот, вздумал приглашать нас вторично. Но, увы, плану нашему суждено было остаться там, откуда он возник, то есть в воображении: не доезжая усадьбы за полверсты, нам предстояло проехать плотину и пересекавший ее мост; все это состояло в единственном, бесспорном владении помянутого уже не раз Петра Ивановича. Тут-то представи-

лось зрелище, которое я увидел в первый раз в жизни: на плотине стояла толпа мужиков с кирками, кольями и топорами, а подвинувшись ближе, мы увидели самого Петра Ивановича. Растянувшись персонально поперек дороги, он заградил нам путь; на мосту торчали одни перекладыны; накатник был снят и лежал в куче.

— Нет дальше ходу! — крикнул нам Петр Иванович и застучал каблуками по земле. — Или застрелюсь тут на месте, или вы ночуете у меня...

Мы молча переглянулись.

— Полноте, Петр Иванович! К чему вы это затеваете? Я ведь вам сказал уже, что я не один. Со мной господа, прислуга, охота, целый обоз; мы вам наделаем столько хлопот...

— Ломай дальше! — крикнул Петр Иванович мужикам. — Ночуйте у меня или в поле... Бр-р-р! У меня все готово... Армии давай сюда! Угостим армию!... Бр-р-р!

— Чего же вы хотите?... Чтоб мы ночевали на мельнице?

— И я с вами!

— Мы вернемся назад...

— И я с вами!

— Мы, наконец, уедем домой.

— И я с вами... бр-р-р!

И на все это Петр Иванович, по его понятиям, решался единственно потому, что он благородный человек и товарищ истинный, а не жомини, не щелкопер[118]! Что он готов для нас перехватить себе горло ножом.

— А вы вот этого не сделаете! — прибавил он наивно.

Пока мы торговались с этим навязчивым кунаком[119], подвалил обоз и стая к плотине. Увидев Трутнева, Петр Иванович вскочил как встрепанный.

— Володя! Друг! Помоги... Режут, жгут... обида! Понимаешь-обида!...

— Горько, обидно! Васьсьво! — вторил ему плачевный голос из фургона.

— Что ж, ваше сиятельство, удостойте; мы, этак, тово, вечерком вместе... — прибавил Трутнев.

С последним словом Трутнева Петр Иванович очутился на коленях перед лошадью Атукаева.

Между тем стемнело совсем, нахмурилось,

брызнул редкий дождик.

Что оставалось после этого? Подумали и согласились!

Обрадованный кунак наш кинулся как шальной к мосту, прикрикнул на мужиков и принялся сам настилать накатник. Переправля стаю и обоз вперед, мы наконец всем обществом тронулись в путь и начали подниматься на пологую гору; налево от нас потянулась каменная стена, направо начали попадать в глаза неопределенного вида строения. Миновавши их, мы повернули в высокие каменные ворота; направо стоял громадный с заключенными наглухо ставнями старинный дом; за ним в углу, светились два окна флигеля, где помещался Петр Иванович с семьей. Услыша топот, к нам вышел подслепый лакей со свечкой и, мигая веками, старался осветить две ступеньки крылечка под соломенной крышкой.

При входе в первую комнату из скверной, вонючей и сорной передней мы тотчас были пожалованы в звание друзей Петра Ивановича и, расцеловавшись с ним, как подобало, вступили в следующую комнату, игравшую

роль гостиной, потому что в ней обрелся ситцевый диван, несколько кресел и стояло в углу старинное, необыкновенной формы фортепьяно, с овалом на спине и круглыми боками, походившее на супоросую[120] свинью.

— Вот тут, господа, пожалуйста!... Граф, прошу садиться, а я вот вам тотчас жену, тово... чаю... Эй! Каролина, выходи! Чаю господам... Ком гир[121]! — крикнул он, громко стуча кулаком в дверь. — Да вы не хотите ли, тово... перед чаем пройтись по водке, лучше?...

А, вот она! Рекомендую, граф!... Да вы уже знакомы... Вот, господа, рекомендую, моя жена, только вы с нею не очень-то... просто, этак, тово, она глуха — черт, не знаю, чем лечить... русские лекарства не действуют... Вы, пожалуйста, не церемоньтесь с ней... Каролина, чаю господам!... Тей[122]! Тей! — крикнул Петр Иванович, выделывая рукой, как наливают чай, и убежал.

Пока это говорилось и показывалось, между нами, медленно отворяя дверь, еще медленнее появилась молодая дама с завязанной щекой, в опрятном сереньком капоте[123] из полутерно[124]; в то время как муж выкрики-

вал у нее над ухом: «Тей!» — она успела выделать два книксена[125] и по исчезновении Петра Ивановича молча села в ближайшие кресла: в черных прекрасных глазах ее светилась какая-то робость, сиротливость; на бледном кротком, чисто немецкого типа лице была заметна грусть, а глядя на тощую грудь и руки этой женщины, нельзя было сомневаться, что у нее до крайности потрясены и ослаблены нервы.

Кое-как откланявшись, мы тоже начали усаживаться где попало; граф поместился ближе и как знакомый первый вступил в разговор.

— Как ваше здоровье? — спросил он довольно громко.

— Ваше зиятельство на акот[126]? — отвечала Каролина Федоровна.

В таком роде длился у нее разговор с Атукаевм около четверти часа; наконец я подошел как можно ближе и сказал довольно громко по-немецки:

— Вы, верно, скучаете, живя постоянно в деревне?

— Мои родные в Карлсруэ[127], — отвечала

она и грустно улыбнулась.

— Вы любите чтение? — спросил я еще громче.

— У моего мужа умерли все собаки, — было ответом. Я снова сел на место.

Вошел Трутнев и, не обращая внимания на Каролину Федоровну, пустился в рассказы.

— Что, вам, я полагаю, скучно, ваше сиятельство? Тут тово...

— Нет. Только жаль, что вот наша дама затрудняется в ответах. Прежде она слышала хорошо.

— Представьте, это Петр Иванович ее оглушил... Когда он бывает под гульком, так, знаете, этак, ему вздумается тово, по праву супружества... Один раз как-то в сердцах по голове... тово... ну, и оглохла. Из синяков не выходит, — прибавил он, улыбаясь.

Каролина Федоровна следила за выражением лица Трутнева и, полагая, что он рассказывает нам очень смешную историю, весело улыбалась.

Я вскочил, сам не зная, по какой причине, с места и вышел в другую комнату.

Петр Иванович, преобразившись из яргака

в архалук[128] бегал по комнатам, выскакивал на крыльцо, кричал, бранился и торопил прислугу, отдавая каждому по пяти самых разноречивых приказаний. Между прочим, я слышал часто произносимые им имена: Ганьки и Мотрюшки.

— Ну, что, сказал? — спросил он, поймав за ворот бежавшего через зал рыжего, с веснушками, в сером казакине мальчика.

— Сказал.

— И Ганьке сказал?

— Сказал.

— И Мотрюшке?

— Сказал.

— Да ты, дурак, ты бы Ганьке сказал, чтоб она тово... а Мотрюшке, чтоб она это... понимаешь? Сарафан, дурак, беги, скажи, опять, мол, в сарафанах, и ткача сюда... А ты куда? — накинулся он на подслепого лакея.

— Я-с! Вы приказали...

— Дурак! Я сказал, чтоб стол, тово, карты и все такое в кабинет.

— Да я бегу по вашему приказу, чтоб ключника[129] послать, овса добыть, овса нетути...

— Дурак, тебе говорят — карты! Понимаешь? В кабинет, ты стол там, чтоб и все это-кое...

И Петр Иванович влетел в гостиную.

— Что ж, чаю о сю пору? Чаю! Что ты тут расселась? Гриб немецкий! Тей! Тей! — крикнул он, дергая жену за плечо.

Бледная, растерянная, она робко взглянула ему в лицо и по направлению руки Петра Ивановича вышла в дверь.

— Друзья мои! Граф! Ваше сиятельство! Не поскучайте, пожалуйста, извините, я сейчас... Только вот насчет певчих...

И Петр Иванович снова исчез.

Несмотря на это громкое: «Тей!» — чая нам вовсе не дали, и Петр Иванович больше не вспоминал об этом; Каролина Федоровна тоже словно в воду канула и больше к нам не появлялась.

Оставшись втроем, мы принялись рассуждать о скачке Карая; так прошло около получаса; в это время я увидел, как Петр Иванович, подкравшись на цыпочках к нашей двери, тихо притворил обе половинки; вслед за тем мы услышали топот и установку в зале,

кое-кто покашливал и пересмеивался; наконец дверь распахнулась снова, и Петр Иванович появился к нам с довольным лицом.

— Не угодно ли, господа? — сказал он как-то торжественно и, обратясь к двери, хлопнул в ладоши.

С этим сигналом в соседней комнате разразился неистовый крик. Я не помню, как я очутился там: толпа деревенских баб, под управлением ткача, горланила какую-то вступительную песню, звуки которой как-то лопались в ушах. Наконец, при появлении графа и Бацова из гостиной, а Трутнева с Бакенбардами из кабинета, две бабы, разряженные в китайчатые[130] с мишурной оторочкой сарафаны и сам ткач с его необыкновенным инструментом отделились от сонмища и начали какую-то мордовскую пляску под припев хора:

Ахвицер, ахвицер, ахвицерик молодой,
Ахвицерик молодой,
Под ним коник вороной:
Конь копытом землю бьет, а девица слезы льет!

Ганька и Мотрюха отжигали непостижи-

мые коленца, а ткач трещал под песню хора на своем неслыханном инструменте. Инструмент этот был не что иное, как тупейный гребешок[131] с приделанной к нему как-то бумажкой.

«Ну, Каролина Федоровна знала, для чего оглохла», — думал я, слушая этот гвалт.

Не так он действовал на Петра Ивановича: упоение его было, как видно, безгранично; он и шевелил плечами, и выступал козырем, и засучивал рукава, и притоптывал, и прицелкивал, и, наконец, что всего хуже, кажется, окончательно забыл о нас грешных. Трутнев тоже начал понемногу увлекаться этим зыком; г. Бакенбарды держал себя гордо и степенно, хотя и можно было поручиться, что, не будь тут это *monsieur le comte*, он непременно закружился бы в общем водовороте.

Мы вернулись в гостиную и начали со смехом и досадой пополам высказывать каждый свое мнение о незаконном нашем аресте. Батов в особенности выражался насчет этого очень едко и убедительно, но все его красноречие заканчивалось общим и дружным между нами смехом, и едва мы сумели бы придум-

мать что-нибудь для своего избавления, если б не следующий случай.

Неизвестно откуда появился перед нами камердинер Атукаева с весьма недовольным видом и произнес на первый раз очень простую, но до крайности вразумительную фразу:

— Ваше сиятельство! Как вам будет угодно, а ночевать тут не приходится.

— А что?

— Помилосердуйте... Лошади у нас не отпряжены и стоят без корма. Собаки о сю пору на дворе, под дождем: приюту никакого... В конюшне, в сараях — везде течь. Все стоит непокрытое: повар, вишь, крыши изводит на плиту. Людям есть нечего и разместиться негде; у экипажей я поставил караул: того и гляди, очистят!...

— Вот те раз! Хотел угощать армию! — проговорил граф в раздумье. — Неужели нет корму ни людям, ни лошадям?

— Точно так-с! У них и свои лошади третьи сутки овса не нюхали, а тут где же взять на такое количество? Сами изволите знать: у нас не десять лошадей! Да вот для вас тоже ку-

шать о сю пору не готовят. Дворовые бегали на село кур и яйца собирать, мужики их приняли в колья; там драка, безобразие, пьянство, крик. А дворня-то — все вор на воре, у своих тащат из-под замка... Помилуй Бог, беды не оберешься!...

Прослушав это донесение, мы переглянулись враз и громко от души захохотали.

Отнеся этот смех насчет сочувствия нашего общему веселью, Петр Иванович влетел в гостиную козырем, выделал коленце и заключил меня первого в объятия, но Мотрюха выручила остальных от этой мялки. Появившись с припляской перед Петром Ивановичем и маня его к себе руками, она припевала в такт: «О-ох, кости болят. Все суставы говорят», — и так далее. «Гений, а не женщина!» — крикнул тот и умчался за своей дамой, припевая: «Ходи раз, ходи два!» — и так далее.

— И прекрасно! — начал Атукаев, обдумав тем временем свой план. — Вели людям собраться как можно тише и тронуться враз со двора; лошадей наших держать наготове, а Петрунчика дать сюда; пусть его веселится сколько душе угодно; мы его, господа, употре-

бим вместо громоотвода и отдадим на жертву, а сами улизнем отсюда... Ступай же и обделай все как можно аккуратнее!

— Слушаю!

И обрадованный Артамон Никитич, заговаривая и заигрывая с бабами, ловко добрался до передней.

Его место в гостиной заменил г. Бакенбарды.

— А мусье ле конт! — начал он. — Же ву ле фелисит авек дю бьен э-тре гран plezier[132]!

Злодей! Так и видно было по лицу, как долго он мучился над постройкой этой необыкновенной фразы.

— Что ж, нам тут очень весело, — сказал граф по-русски, глядя на меня так убийственно, что я чуть не лопнул подобно ракете от усилия не разразиться смехом.

— Но мне, признаться, это всегдашнее ту-жур пердри[133] надоело, — проговорил Бакенбарды и, а la Чайльд-Гарольд[134], поместился возле меня в креслах.

— К тому же вам для занятия досталась такая дама, которая ничего не слышит, хоть стреляй! — начал он, относясь ко мне.

— Да, жаль... — промолвил я, кусая свою губу. — Давно она потеряла слух?

— Вот, с великого поста... Это муженек ее оглушил. Вздумал стучать об эту печку, и если б я не случился тут... да что и говорить, когда-нибудь он-таки ее доконает... месяца три голова у нее была настоящая подушка... Да вот и старшая дочь... — вы не видали ее? — сделалась уродом, должно быть, по его милости: теперь у нее растет горбок...

И, заметя наше расположение слушать, г. Бакенбарды пошел дальше. Из его длинного повествования, за исключением французских фраз, мы уразумели следующее.

Оставшись после родителей по десятому году, Петр Иванович, вместе с меньшей сестрой своей, попал на воспитание к бабушке, женщине известной в околотке по богатству и гордому характеру. В семнадцать лет Петр Иванович возымел решительное намерение прицепить к боку саблю. Через десять лет службы в гусарском полку он явился на родину, с отставкой в кармане и с полным запасом антигусарского удальства. Поселясь в отцовском большом и прекрасно устроенном име-

нии, которого, прибавим в скобках, теперь не осталось и половины, Петр Иванович часто навещал бабушку и не замедлил там влюбиться в компаньонку своей сестры, то есть в Каролину Федоровну. Осведомясь об этом, бабушка вскипятилась и чуть не отодрала розгами поручика Петрушу, но Петруша был гусар и страстный поклонник сатисфакций: зная наверное, что бабушка его никак не согласится стать на барьер, или так называемую благородную дистанцию, он придумал задать ей сатисфакцию другого рода: забрался к ней в сад и, лежа под кустом, выждал время, когда хорошенькая немочка, по обычаю, вышла помечтать. Увидевши предмет своей любви и сатисфакции, Петр Иванович накинулся на нее как Бедуин, заткнул ей глотку носовым платком, схватил ее под мышку и умчал а la Малек-Адель[135] в свои владения. Очутившись в той самой гостиной, в которой теперь шла у нас речь, Каролина Федоровна увидела перед собой Петра Ивановича, во-первых на коленях и с гусарской клятвой на устах, во-вторых, Петр Иванович взял предмет своей сатисфакции под ручку и ввел его в

соседнюю комнату; там сказал он ей: «Ву зет мейне либе фрау»[136] — и кончил сатисфакцию с бабушкой.

Через два дня после этого соблазнительного происшествия приехал предводитель с дворянами и, отобрав от бедной немки и дворовых людей показания, посоветовал Петру Ивановичу прекратить это дело и побережь себя, а то, дескать, тут явится и бабушка, и уголовная палата, и прочее, и прочее.

Вообразив, что все это делается по приказам бабушки, и желая «насолить» ей окончательно, Петр Иванович послал за приходским священником и в присутствии трех благородных свидетелей прекратил уголовное дело в самом его зародыше, а что всего лучше — «утер нос и палате и бабушке!»

Через год после этого, когда у Петра Ивановича родилась старшая его дочь, заботливый папаша, вообразив почему-то, что трусливее немцев нет людей на свете, вздумал выветривать заранее из девочки немецкий дух: схватя ребенка с рук матери, он отнес его и положил в ясли к самому злому жеребцу и начал его подхлестывать. Лошадь трясла головой,

цулила уши и вздымалась на дыбы, а Каролина Федоровна, растянувшись на полу, обнимала колени Петра Ивановича и кричала неистово. Вот уже пошел девятый год, как Петр Иванович варьирует этот способ на разные лады для того, чтобы выветрить из жены и двух дочерей своих немецкий дух.

— А впрочем, — заключил г. Бакенбарды, — надо сказать, что, за исключением этих маленьких шалостей, он поистине благороднейший человек и удивительный товарищ! Сетюньом де комильфо[137]! Мы с ним вместе служили... В полку у нас было общество необыкновенное, не то, что в пехоте; все мы говорили не иначе как по-французски; боже сохрани, по-русски! Или высморкать нос перед фрунтом: тотчас вызовут на дуэль!

С появлением Хлюстикова Петр Иванович пришел в совершенную ражу, кинулся целовать Атукаева и доказывать, что он способен быть благороднейшим человеком и удивительным товарищем, и вслед за тем, как бы в награду нам, выслал баб и велел накрыть стол. Трудно передать, какая суета и давка пошла в зале, где, чтоб сберечь время для тан-

цев, Петр Иванович шнырил безвыходно, торопил прислугу и наделял всех затрещинами. Между тем граф подозвал Петрунчика и приказал ему пить больше за ужином и развлекать внимание Петр Ивановича.

В одиннадцать часов мы сели за стол. Что это была за сервировка! У меня в приборе недоставало ножа; г. Бакенбарды поместился за пустой тарелкой; Бацов стащил у Трутнева с прибора салфетку. Наконец появилось огромное, но единственное блюдо нарезанной кусками курятины, облитой каким-то желтоватым раствором. Курятина оказалась совершенно сырою. По счастью, под столом очутилась борзая собака и пожирала кусок за куском. Петрунчик вел себя удивительно: перепивая и забавляя хозяина, он завладел им до того, что Петр Иванович обратил на нас внимание только в то время, когда, убедившись, что брошенные нами под стол куски уничтожены, мы разом поднялись с мест.

В гостиной между тем появились три постели, приготовленные для нас во время ужина, а в зал, по снятии стола, собралось баб вдвое больше прежнего, и мы убедились, что

протесниться к выходу нам не было возможности. В довершение удара Бацов, осматривая постель вздумал поднести свечу поближе к дивану; он ахнул и подозвал нас. Было от чего ахнуть: по всей обивке дивана и на проточенных обоях сидели в три шеренги клопы.

— Нет, это из рук вон! — крикнул энергически Лука Лукич и выбежал вон.

Мы боялись, что он по горячности испортит дело наше вконец. И точно, было близко к тому, когда Бацов вернулся к нам, таща Бакенбарды за руку.

— Посмотрите, что это? — заговорил он, проводя свечкой вдоль дивана. — Это свинство, это подлость, наконец! Затащить гостей насильно, не дать чашки чаю, кормить черт знает чем, и после травить!... Это насмех, что ли, он делает? — прибавил Лука Лукич, ставя свечку и сверкая глазами.

— Полно, Лука Лукич! — приступили мы к Бацову.

— Нет, этот мерзавец стоит пятисот нагаек! — крикнул Бацов, свирепея.

— Что ж тут, господа, — лепетал Бакенбарды, — дом не мой, я был бы рад... если б... да

не знаю, как помочь...

— Оставь, Лука Лукич! — перебил Атукаев и обратился к Бакенбардам: — Послушайте, — сказал он, — вы видите ясно, что в этой берлоге остаться мы не можем. Помогите нам, пожалуйста, выбраться отсюда так, чтоб он не заметил этого...

— Очень рад, очень рад! Лошади у вас готовы? Где они? Я прикажу подавать.

— Как же вы это сделаете?

— Очень просто: их подведут к балкону, я притворю двери в зал, вы выйдете в эту дверь и...

— Представьте! — крикнули мы все трое, глядя вопросительно друг на друга. Перед нами была дверь на балкон, и мы только теперь ее заметили.

Пока г. Бакенбарды хлопотал о лошадях, мы успели подать знак Хлюстикову; тот вместо танцев придумал водить хоровод, окружил Петра Ивановича бабами и запел:

Дунай, мой, Дунай, веселый Дунай!

Явился Бакенбарды и, получив от нас при

рукопожатию тройной титул: избавителя, благодетеля и еще чего-то, раскланялся с достоинством, повторил раз пять: «Бон нюи» [138] — и захлопнул дверь в залу.

Съехавши потихоньку со двора, мы живо домчались до места и очутились в чистой и просторной крестьянской избе. Нужно ли повторять, какими глазами смотрел я, изнуренный двухдневной бессонницей, на три приготовленные для нас по углам постели? Но это увлечение было мелко в сравнении с тем громким возгласом, каким приветствовали мы Артамона Никитича, представшего нам с клокочущим самоваром в руках: «Тей! Тей!» — крикнули мы, словно по команде, и смеялись как дети, припоминая вразбивку впечатления проведенного нами вечера.

За вторым стаканом чая я как-то прилежно носом к подушке и... «Тей! Тей!» — крикнули два громкие голоса у меня над ухом. Я открыл глаза, но это было в десять часов утра. Граф и Бацов хохотали, стоя у моей постели; на столе по-прежнему кипел самовар, а у порога стоял мой Игнатка.

Мы у Стерлядкина. — Что такое Трутнев? — Тревожная весть. — Братовка. — Алексей Николаевич. — Племя волкодавов. — Разногласица. — Феопен. — Выдержка гончих. — Отъезд в Чурюково.

Через час явился Хлюстиков с распухшим лицом и глазами как у кролика; он прибыл пешком, расставшись с своей компанией на рассвете дня, в то время когда Петр Иванович свалился на одну из приготовленных для нас постелей.

— Что ж ты так долго путешествовал, моя радость? — спросил граф.

— Гм, гм, мы на пути, этак, вздремнули. «Вот на пути село большое», — затянул было Хлюстиков, но голос изменил ему. — Граф, ваше сиятельство, голубчик, прикажи Петрунчику рюмочку... душу отвести! Смерть, так вот и горит!...

Нечего делать: видя страдание Петрунчика и твердое его обещание исправиться, поднес-

ли ему рюмочку и сдали его Артамону Никитичу на руки для приведения в надлежащий человеческий вид. Тот свел его и уложил в одну из брик. Между тем люди позавтракали, рассадили борзых и стаю, впрягли лошадей и тронулись в предстоящий нам далекий путь.

В полдень, при ясном солнечном небе и этой нетомящей теплоте осеннего дня, мы сели в открытую коляску и поехали на полных рысях. Прижавшись боком к мягкому кузову, я молча курил сигару и лениво глядел на бегущие мимо нас рядки однообразных полей; солнце светило по-летнему; по темной зелени перелесков играл подсохший лист, поблескивая золотистыми искорками, словно редкая седина в голове еще не устаревшего человека, цепляясь концами за жниво, кругом нас плавала длинная паутина: ее было столько, что издали, на припоре света, поле было как будто накрыто хрустальным ковром; даль терялась кругом в глубоком тумане; кой-где гуляло стадо по изложинам: курился дымок, две-три бабы вертелись с граблями по жнивю, да стрепета[139] свистели крыльями, перелетывая стаями с пашни на пашню.

— Вот и бабье лето подошло, — проговорил наконец Лука Лукич, поймав летучее волокно паутины.

— Да, как бы не пошло на сушь; тогда плохо! — прибавил Атукаев в раздумье.

(Не по душе это бабье лето псовому охотнику; ему — изгарь, прохолодь, частые перемочки, серые деньки...)

Спутники мои снова молчали, глядя по-моему в даль; граф, как казалось мне, был озабочен какою-то неотвязной мыслью.

— Которое сегодня число? — спросил он после изрядного срока.

— Седьмое, ваше сиятельство! — отвечал Артамон Никитич, покачиваясь на лакейском местечке.

— Шутка, как летит время! Я боюсь, как бы наш **заправляло** не тронулся без нас. Мы два дня просрочили.

— Да, я сам только что об этом думал, — прибавил Бацов.

— Не извольте сумлеваться, ваше сиятельство! Алексей Николаевич не тронутся без нас, для того, что уж если они дадут слово, так можно сказать, что наверное... — возразил

успокоительно Артамон Никитич.

Больше, кажется, и не было речей во всю дорогу. В два часа подъехали к дому Степана Петровича Стерлядкина. Кругом надворное строение и вообще вся усадьба поблескивала на манер тех ярких пейзажей, какие малюют продавцы игрушек на детских складных картинках. Все было уравнено, подсажено, подновлено, подкрашено; даже в саду, как я увидел после, в конце аллеи, упиравшей в простой частокол, была дощатая стена с намалеванным на ней каким-то фантастическим замком, с морем, с кораблем и скалами, на которые было потрачено не менее полупуда охры. Хозяин радушно встретил нас верхней ступеньке крыльца и проводил в дом, где стоял уже накрытый стол. В гостиной, за зеленым столиком, трудились четверо общезнакомых нам соседей: они добивали пульку — по маленькой. Стерлядкина чествуют вообще как старого холостяка и хлебосола, но вместе с тем понимают его как человека, который «молотит на обухе рожь», и говорят, что у него каждая копейка прибита алтынным гвоздем. Тут, как кажется, дело не обходится

без зависти, потому что Степан Петрович, как человек «печный» [140], скопил порядочный капитал, и все те, которые трактуют его скопидомом и сквалыгой за глаза, большею частью держат себя на — «придите поклонимся», и только люди независимые на манер Бацова, обходятся с ним запросто.

— Ну, Лука Лукич, поздравляю. Слышали мы, как Карай, тово... Отлично! Отлично! Можно чести приписать! — басил один из игроков, протягивая через стол пятифунтовую [141] мягкую кисть к Бацову.

— Да от кого вы слышали?

— А вот Степан Петрович не нахвалится; просто чудо что, говорит...

— Совсем не то я вам говорил, господа! — перебил Стерлядкин, подмигнув нам глазом. — Я и теперь готов повторить мои слова: Карай, точно, собака надежная и будет со временем скакать порядочно, когда сложится, потому что вчера он ни на пядь не отставал от Азарного. Не правда ли, граф?

— Да, я видел... — начал Атукаев.

— Пустяки, господа! Этим вы меня теперь не взбелените, а ты говори-ка дело, а не

юли!... — возразил Бацов, бросая шапку на одно из кресел.

— Да я и говорю тебе дело... Что ж, Карай собака ладная, и с ногами. Хочешь менка? Я готов, хоть на Азарного... и придачи немного возьму...

— У, щучья пасть! Придачи! Тоже суется с Азарным! Нет, ты, брат, его теперь припрячь подальше, а то, пожалуй, и вправду мыши хвостик отточат!...

Подобные перекоры шли у них до тех пор, пока мы не уселись за трапезу. Спасибо Степану Петровичу, мастер кормить! А серебра на столе у него было видимо-невидимо. Из двух ваз по концам торчали засмоленные горлушки бутылок. Ели все исправно. В одном конце стола оставались прибора четыре незакрытых: кто-то обратил на это внимание.

— Да я полагал, что подъедут еще наши мелкотравчатые, — отвечал хозяин.

С легкой руки Стерлядкина начался у нас подробный рассказ о вчерашнем вечере у Петра Ивановича. Граф говорил обо всем легко и шутя, но Лука Лукич, при воспоминании об ужине и клопах и, по поводу их, о Ганьке и

Мотрюхе, а в особенности о положении Каролины Федоровны, сильно раздражался и говорил обо всем чуть не с проклятиями.

— Нет, любезному племянничку, — повершил Стерлядкин (Петр Иванович был ему сродни), — как видно, не миновать сумы, если он поведется дальше с этим пройдохой. Извините, Андрей Васильевич, — обратился он к одному из гостей, — я говорю о Трутневе: он вам как-то сродни... Из песни слова не выкинешь.

— Что ж, — отвечал тот, — против правды возражать нельзя. Притом же вы сами знаете, что этот Трутнев сидит у меня вот тут! — гость показал на затылок.

— Пустяки! — вмешался Бацов. — Никогда не поверю, чтоб какой-нибудь Трутнев заставил меня делать то, противно и совести и всему...

— Чудак! Ты вот говоришь и горячишься, не зная дела! Да знаешь ли, что Петру Ивановичу теперь остается делать только то, что Трутневу угодно. Он не смеет без него шагу ступить. Трутнев богаче его вдесятеро!

— Что ты мне толкуешь! Пустяки, брат!

Трутнева состояние я знаю... Давно ли он ездил на колымажке, в нанковом[142] сюртучке и выпрашивал по пудикам, чтоб кормить семью. И отец-то его было больше ничего, как однодворец[143]: сам пахал...

— Я это знаю не хуже тебя, да дело, в том, что Трутнева состояние теперь не вогнешь и во сто тысяч!

— Как же это могло случиться?

— Выходит, могло, коли случилось! А дело склеилось само по себе, без нашего ведома. Как вышел в отставку мой чудо-юда (тогда он был все не то, что стал теперь), Трутнев, вот в том самом сюртуке, что и тебе памятен, и шашь к нему на двор... дескать: «Отставной корнет[144] уланский! По бедности, жену имею, трое детей... осмеливаюсь просить, что милость будет...» И так далее. «Как! — крикнул гусар, всплеснув руками. — Улан[145]! кавалерия! (Наш брат, пехота, у них нипочем!) Прощу садиться!» А тот, не будь дурак, вместо стула за гитару, да как хватит камаринскую — и пошел вприсядку... Через час после того новые знакомые и братья по оружию обнялись, поцеловались, собрали баб и к вечеру

стали друзья неразрывные... Наутро Трутнев, смекнувши, в чем дело держал к другу такую речь: «Есть, дескать, у тебя, друг, по соседству со мной мельница; отдаешь ты ее мужику за три тысячи в год; так не лучше ли будет иметь дело с другом и благородным человеком, чем с какой-нибудь бородастой шельмой, у которой, дескать, никаких благородных чувств в наличности не имеется... а я стану по третям вносить тебе ту же сумму». Как не пособить благородному человеку? Ударили по рукам, бороду долой — и друг стал арендатором. Пришел срок. Трутнев привозит за первую треть денежки, аккуратно, все до копеечки... Ну, тут, как водится, опять пляска, а там раскрыли стол. Арендатор метнул направо, налево и тысяча пошла назад в нанковый карман, да мимоходом зацепила и за другую треть помола; за остальной поехал к съемщику сам хозяин и вместо тысячи получил три, а векселек выдал. С тех пор повадился мой владелец навещать друга арендатора, да в пять лет дописался до такой премудрости, что и на всю мельницу подмахнул закладную в сорок тысяч! А ведь вы знаете сами, — прибавил

Стерлядкин, — что при ней одного луку полтора десятины [146] да лес непочатой. Заикнись он мне хоть словом, — сейчас внесу на купчую пятьдесят тысяч — и буду в барышах!

Все слушали Стерлядкина, как говорится, разиня рот.

— А теперь слух носится, — прибавил рассказчик, — что сверх закладной он набрал векселей еще тысяч на тридцать.

— Непонятно, однако же, — сказал Атукаев, — как можно брать векселя, устраивать подобные сделки без гроша, задаром...

— Нет, оно, коли хотите, так вовсе не задаром, а за дело, — возразил Стерлядкин.

— Да как же это? За какое дело?

— А вот за какое: выслушайте и согласитесь, что Трутневу не задаром достаются эти векселя и закладные... Вот недавно, по лету, вздумал мой мужичок продать выкормка-меренка. Лошадь, знаете, не хозяйственная, мужику неподходящая: в соху слаба, борона тоже ей не под силу, а побежка налегке есть; не то, чтоб иноходь [147], а так, трепачок; откуда ни возьмись Трутнев. Бац, бац по рукам: за срок за пять стащил у мужика вислоухого же-

ребенка, продержал недели две на конюшне, подчистил, подстриг ушки, расчесал гривку, запряг в беговые, да и махнул к другу под крыльцо: тот, как взглянул на казанского иноходца, и разинул рот... Как вы думаете, на чем покончили? — спросил Стерлядкин.

Мы все молча и вопросительно взглянули ему в лицо.

— Взял он у друга коренную-битюга; лошадь рублей в двести, пролетки московские, в шестистах на ассигнации, да векселек в триста целковых: теперь ведь на ассигнации векселей не пишут! Вот и говорите — даром! Ан не даром! Так и во всем... Стерлядкин, как видно, хотел продолжать, но остановился и начал вслушиваться; мы тоже обратили головы к окну: оказалось, что на двор въезжали наши охотники. Степан Петрович тотчас начал отдавать приказание человеку, как разместить обоз и охоту. Вскоре затем, без зова и доклада, появился у двери плотный детина в синей черкеске[148] с патронами на груди; в одной руке держал он косматую шапку, а в другой письмо.

— А! Афанасий! Здравствуй! Как ты попал

сюда? — заговорил граф к вошедшему.

— Алексей Николаевич приказали кланяться и просят поспешить, — сказал Афанасий, поднося письмо графу.

— Как же ты узнал, что я здесь?

— Я было ехал в Клинское, да версты за четыре отсюда встрел охоту вашего сиятельства...

Атукаев углубился в чтение, но, не кончив всего письма бросил его на стол и обратился к нам с досадой:

— Ну, вот вам и новость, господа! Жигуновы с компанией едут на наши места! Ну, что это за народ! Цунятники[149]... дела не делают, а другим портят! Вот, читайте! — продолжал он, кидая письмо через стол.

Я схватил и прочел вслух следующее:

— *«По обещанию твоему, я ждал тебя весь день пятого и, не дождавшись, сегодня в ночь посылаю нарочного. Поспешь, пожалуйста, как можно скорее, потому что дальше пятницы я ждать не могу и тронусь, чтоб захватить по дороге ближайšie отозванные места в Чурюкове, Бокине и дальше. Вот еще новость: я узнал наверное,*

*что Жигуновы с компанией идут на наши лисьи Новохоперские места[150]. Если вы не поспеете ко мне в Братовку раньше десятого, то идите прямо к Чурюкову, где я буду стоять на крови [151], или в Бокино на передох, где стану поджидать вас.
Твой и пр. Алексей **Алеев**».*

— Вот вам и радость! — прибавил граф серdito.

— Ну, это еще дело не страшное, — возразил Стерлядкин. — Разве это охота! Это сброд мелкоты вот вроде Трутнева и нас грешных. Там сколько собак, столько и господ!

— И точно, ваше сиятельство, беспокоиться тут не о чем, — прибавил Афанасий уверительно. — Об жигуновской охоте и поминать грешно: собаки — цуньки, полуборзики.. Прощлый год мы прослышали в Грайворне об лисицах... подходим к острову, а Жигуновы уж тут: порсканье такое идет!... Мы скружили стаю, слушаем «Тяв, тяв!» С тем и вызвали! А сами глядят на нас... Мне Алексей Николаевич изволил приказать осмотреть ихнюю стаю: нет ли с затеком[152]. Вот я, этак, подье-

хал, оглядываю... Тут сам барин ихний. «Чей человек?» — говорит. Так и так, мол, сударь, послан осмотреть, нет ли дескать, какого сумления (известно, насчет чумы), хотим мол, метать[153] своих гончих... «Кланяйся, — говорит, — Алексею Николаевичу и доложи, мол, что чумы у меня нет, да и лисиц в остро-ве не найдете: моих только что вызвали». Ну, так и доложил... «Вздор! — изволил сказал наш барин. — Мечи!» — говорит ловчему... Как заровнялся наш Феопен! Только что прошел опушку, варом заварила стая... — слышим рог, другой[154]! Пятерых к нам на щипце и вынесли, тут, при ихних же глазах и вторчили всех... Барин-то Жигулин, говорят, перчатки изорвал, глядя на нас...

— От кого же узнал Алексей Николаевич, что они едут в наши места?

— Ловчий наш Феопен ездил на отзыв, так, вишь, козловские купцы ночевали с ним, те сказывали, говорят, наверное. А волков что у нас отозвано, ваше сиятельство, так впору хоть бы и в отъезжее не трогаться! Во всю осень, кажется, не перетравить, и на пороши хватит...

— Ну, что будет, то будет, — сказал граф в раздумье. — Надо ехать, господа! Ты с нами, Степан Петрович?

— Да, уж так условлено... Придется промять старые кости.

— Так вот что, Афанасий, ты останься тут до утра, а завтра пойдешь с охотой вместе... мои плохо знают дорогу; а мы с вечера вышлем подставных лошадей и к обеду как раз в Братовке.

— Слушаю!

— Степан Петрович! Уложи же нас, пожалуйста, пораньше, а завтра и сам пошевеливайся. Надо в самом деле поспешить.

После обеда гости разъехались. К Степану Петровичу начали являться старосты, гуменщик[155], ключник и прочий люд для выслушания его распоряжений. Мы закурили сигары и отправились в сад, где, между прочим, видели и помянутую уже картину. Когда мы вернулись назад, Степана Петровича уже не было в доме: он стоял у дверей одной из кладовых; там при нем отсчитывали окорока, отвешивали муку и разную поварскую провизию. Мы пошли туда и все были свидетелями

следующей сцены.

За спиной у Стерлядкина стоял белокурый, с живыми глазами, миловидный мальчик лет пятнадцати, в зеленом охотничьем казакине. Он всхлипывал и утирал рукавом слезы. Услыша этот плач, Стерлядкин обернулся и произнес полусердито и наставительно:

— Пошел, пошел, говорят тебе! Еще расхныкался тут! Другой бы рад был, что оставляют его дома, на печке... Что, за тобой няньку, что ли, возить? Ты рассуди, ведь это не в Осоргино хлопунцом[156] прокатиться... тут, брат, осень на седле сидеть... чичер[157] захватит, разнеможешься... куда тебя девать? Притом же в охоте что будешь делать? Волка отродясь не травливал, лисицы в глаза не видал...

— Помилосердуйте, сударь!... Что ж я опосля того за человек выхожу?... Когда ж я должен научиться? Выходит, мне и век из хлопунцов не вытти!... А вот прикажите только, — я лучше старых балбесов управлюсь с делом...

— О чем он хлопочет? — спросил граф.

— Да вот дурак, оставляю дома, при моло-

дых, так нет, возьми его в отъезднее! Тоже охотника корчит!... Возьми, а там и нянчись с ним! Он думает, что это легкое дело, домашнее...

— Батюшка, ваше сиятельство! Заступитесь!... Нешто я уж так, не человек?... — приступил мальчик.

Кое-как общими силами склонили Стерлядкина. Он согласился, примолвя:

— Смотри же у меня, если только там раскиснешь или лошадь подобьешь, я тебя тогда пешком прогоню домой. Ступай, собирайся!

Обрадованный мальчик не находил, как выразить свою радость; он поцеловал руку Стерлядкина, поклонился нам и побежал по двору вприпрыжку.

Вечером мы долго не засиживались и, напившись чаю, часу в десятом разошлись по местам, обещая каждый встать ранее других. Стерлядкин слушал и подсмеивался, и он был прав, как оказалось на деле: наутро никто из нас не думал еще открывать глаз, как комната наша осветилась, и в ней появился человек с подносом, а вслед за ним и сам хозяин в своем утреннем наряде.

— Что ж, горячие охотники, видно, вы только на словах! Поднимайтесь-ка!...

Мы вскочили словно по команде, собрались живо и в свою очередь начали торопить самого Стерлядкина к отъезду.

Чуть брезжилось, когда мы сели в коляску и поскакали по ровной проселочной дороге; сменив в полупути подставных лошадей, мы ровно в полдень очутились на широком выгоне, отделявшем большое село Братовку и господское гумно от усадьбы.

Миновавши конный двор с конюшнями и высоким манежем и множество хозяйственных новых и прочно поставленных строений, мы подъехали двором к одному из флигелей, с мезонином и балконами по обеим сторонам, вроде продолговатых крытых террас. Прямо против нас стоял небольшой, довольно уже ветхий дом, за которым раскидывался во всю ширину двора густой сад, а над ним высился тонкий шпиль красивой колокольни и купол домово́й церкви.

Поднявшись из маленькой передней по лестнице вверх, мы прошли две небольшие комнаты и очутились в рабочем кабинете

Алексея Николаевича Алеева: письменный стол, с часами и бумагами, стоял посредине, сафьянный диван, кушетка, несколько кресел да ковер во всю стену, густо увешанный ружьями, рогами, ошейниками, сворами, охотничьими ножами, кинжалами и прочим, — вот и вся немудрая обстановка этого обиталища.

— А вот и они! — произнес Алексей Николаевич двум своим собеседникам, завидя нас из другой комнаты и проворно поднимаясь к нам навстречу.

— Здравствуй, кум ты мой любезный! — запел граф, переступая порог.

— Ну, заждались... только что об вас шла речь... — приговаривал хозяин, целуя графа и Бацова. — Здравствуйте, Степан Петрович! Очень рад!... И вы с нами?

— А вот, брат, рекомендую... — перебил граф, показывая на меня. — Это еще ружейник... отщепенец... да его втравим в дело!

Мы пожали друг другу руки и разменялись обычными приветствиями.

Алеев был мужчина лет пятидесяти, довольно высокого роста, худощавый, мускули-

стый, бодрый, с открытою резкою физиономией, чистый тип, так сказать, отшлифованного, выношенного служаки-кавалериста; голубые глаза его смотрели смело, открыто вперед, а по очертанию рта и подвижности лица при разговоре в нем был замечен человек с энергией и решительным характером. Есть люди такого склада, с которыми, встретясь первый раз в жизни, после двух-трех обыденных фраз вы подчиняетесь невольному влечению относиться к ним с полным доверием, открыто, прямо, без задней мысли — нараспашку... к этому подвинуть всякого мог легко, сразу Алексей Николаевич.

Кроме Алеева, были тут еще два его собеседника: один из них, недалкий сосед-охотник, мужчина еще моложавый с лица, но с совершенно белой головой, другой, владимирец-охотник, прискакавший сюда за восьмисот верст потешиться; он был постарее годами первого, но коренастее, здоровее его, с быстрыми приемами и веселым характером.

Трудно было соследить весь ход разговора, который возник сразу между охотниками по случаю подвига Чауса; граф описывал его без

всяких прибавлений и охотничьих прикрас, но по увлечению, с каким он говорил о травле матерого, можно было угадать в нем страстного охотника.

— Ну, очень рад, что Чаус тебе служит, — заключил Алеев, — да иначе и быть не могло: он от хорошего гнезда; его однокорытники у меня работают на славу.

— Да, спасибо, я доволен. А признайся, однако ж, — прибавил граф с лукавой усмешкой, — что порода в нем все-таки не прямая... Я, брат, сам охотник, и знаю, чего стоит выпустить кровную[158] собаку из рук!

— Чего ж тебе еще надо? Ведь я не продал же его, а подарил... ты ведь знаешь моих собак, и порода твоего Чауса тебе известна.

— Да, оно так, а знаешь ли, все как-то думается, нет ли тут подмеси?...

— Говорю же тебе серьезно, что он Пылаевой крови, да вот справься, посмотри сам: мать его убила прошлый год по зайцу, в Астабенских, она дочь Пылая, а отец — Ахид, вот что за Васильем рыщет, собака тоже кровная... Ну, а твой белогрудый что поделывает? Теперь он поговоровал. Как ему кличка? Карай,

что ли? Я думаю, уж скачка видна? — спросил Алеев у Бацова.

— А вот-с, не угодно ли вам будет отнестись по принадлежности, к почтеннейшему Степану Петровичу? Они вам будут иметь честь доложить, как их дворянская совесть указывает, — отвечал Бацов весело и самонадеянно.

Тут снова завязался у нас общий и самый оживленны разговор о скачке Карая.

Ознакомившись и наговорившись вдоволь, мы в два часа отправились всем обществом в дом к обеду. Боже мой, какой столина протягивался вдоль зала! Вокруг него, стояли и стулья обыкновенные, и кресла, и детские стульчики на высоких ножках. Раскланявшись в гостиной с хозяйкой дома, молодой, довольно полной блондинкой с живыми голубыми глазами, мы, через пять минут общего разговора, оживленного присутствием и находчивостью нашей веселой собеседницы, сделались как бы давно обитающими здесь членами одного семейства. Тем временем в зал и в гостиную набралось такое множество разнохарактерных лиц, что у меня с непри-

вычки начало пестреть в глазах: тут были и дядька, молчаливый созерцательный, но довольно, впрочем, сытый немец, и восхищенная своей талией и прической гувернантка, и, грешным делом, русский учитель, и учитель музыки крохотный полячок, с носом, взятым на прокат у великана, и несколько дам родственных и неродственных, живущих в доме, так, «чтоб жить», а детей набежало столько, что и не перечесть: два сына и маленькая дочь были дети собственно Алеева, остальное все было племянники, племянницы, воспитанники, воспитанницы, бедные сироты и прочие. Все это население быстро, разместились вокруг стола, а лакеи принялись повязывать им салфетки под бороды. Интересно было наблюдать, как все члены этого шаловливого общества старались вести себя за столом как можно благочиннее, а между тем, пользуясь зевком гувернантки и прочего начальства, выделывали разные штучки.

После обеда дети убежали в сад, а мы, с сигарами и чашками кофе в руках, вышли и разместились на балконе.

— Не хотите ли, я вам покажу своих моло-

дых? — сказал Алеев.

— Сделай милость: я давно хотел предложить тебе... да ты уж, пожалуйста, кажи нам все своры! Вот он посмотрит, — прибавил граф, указывая на меня.

— Васька! — обратился Алеев к коренастому молодому малому с красными одутлыми щеками и сонной рожей. — Вели охотникам вести сюда посворно псарских[159], а сам с Мишкой приведи вперед молодых. Я теперь пустил немного, всего-то одиннадцать, зато все племенные! — продолжал Алеев.

Вскоре Васька и следом за ним мальчик в нанковом сюртуке привели на сворах одиннадцать молодых собак; глядя на них, трудно было верить, что это щенки. Не знаю, что думали мои охотники, но я сознавал, что такой красоты, статей и роста собак вижу первый раз в жизни.

— Вот звери! — проговорил граф, сходя с балкона к собакам.

— Сколько им? — спросил Бацов, отправляясь вслед за Аукаевым.

— Восьмой месяц.

— Заиркиным не будет; она выметала

позднее, — прибавил Васька, — на четырех половопегих[160].

— Ну, что там, разница в двух неделях, — возразил Алеев. — Вот посмотри, Лука Лукич, пара, у Мишки направо, одинакие, с загривинами; только и наследства от моего Дорогого! Они от Лейды. Эти вот Заиркины; те, пятеро, от Вьюги и Поражая.

Граф и Бацов обходили кругом и рассматривали собак с таким вниманием и увлечением, что я больше смотрел на них, нежели на собак, от которых действительно трудно было оторвать глаз.

— Лучше ты мне и не кажи этих цунок (повес, негодных), сердце не будет болеть... — проговорил граф, отчаянно махнув рукой, и пошел обратно на балкон.

— А что? А кобели-то теперь будут без малого аршин в наклоне[161], — прибавил Алеев.

— Мы меряли с Никитой: эти все по тринадцати вершков[162], а этому вот больше...

— Ну, уж ты все вымерял там... Пошел прочь отсюда! — проговорил Атукаев.

Васька-самодовольно улыбнулся, под-

свистнул и увел собак.

— А знаешь ли, — прибавил граф, — я скоро, кажется перестану ездить к тебе.

— Отчего?

— Да как сказать? Не думаю, чтоб зависть, что ли... а так: как нагляжусь на твоих собак — на своих и глазу бы не накидывал. Так и подмывает перевешать всех дотла, да и забастовать...

— Помилуй, чего ж ты хочешь еще? Давно ли ты стал охотником? Все бы разом! Нет, этого скоро не достигнешь!... Надо выждать. Вот ведь добился же наконец: стая у тебя хоть куда! Чего же еще желать? Ну, что Соловей, работает?

— Да только, кажется, и собак, что Соловей да Кукла. Все же от твоих...

— Ну, вот и веди породу.

Тут человек десять охотников, одетых на манер Афанасья, в синие черкески с позументом и патронами на груди, привели посвorno своих собак. Все мы сошли с балкона и принялись рассматривать этих волкодавов, о которых слава гремела во все концы охотничьего мирка, так что коренной охотник, владими-

рец или костромич, при встрече со своим братом воронежцем или тамбоцем перечисляли поименно охотников и посворно собак «братовской породы», и каждый, желая возвысить достоинство собственной охоты, говорил: «Вот мать собак, внучка Наяну» или: «Отец этих собак, сын Пылая и Юрги, прямо из Братовки!» Эту геральдику собачьей породы твердят охотники издавна, еще со времен существования деда и прадеда Алеева. Я засматривался больше на тех собак, у которых были цапины и хватки, и обращался об этом с вопросом к охотникам... «Волк попятнал», — было общим ответом.

— А вот отец твоего Чауса, — говорил между тем Алеев, показывая на серопеготого[163] кобеля в своре у охотника Василья. — Вот мать твоего Карая, Лука Лукич, — продолжал он к Бацову, — а отец его, Крылат, рыщет за Афанасьем, его тут нет. Собака злобная; я надеюсь, что Карай будет брать волка в одиночку, — и прочее.

За псарским Васька, как стремянный, привел барскую свору. Все почти собаки были половегие, но каким глазами должен был

смотреть на них опытный и горячий охотник, я желал бы лучше спросить у него самого, а не рисоваться на чужой счет в выражении чуждых мне впечатлений. Между тем, пока мы обходили и рассматривали этих необыкновенных собак, Алексей Николаевич разъяснял нам их породу:

— Вот это — Наградка, мать этой Заирки; а это — Награждай и Поражай, ее сыновья. Эти собаки чисто Наяновой крови. А эти вот: Победим, Лихач и вот эта — от Пылая.

— А эта? — спросил я нетерпеливо, глядя белую, как кипень[164], с шелковистыми завитками и черными навывкате, блестящими глазами собаку поразительной красоты.

— А, это Аптекарша! — отвечал Алеев, смеясь. — Она будет двоюродная Наградкиным детям, отец ее Масловской породы. Она скачет первую осень... Вообразите, какую штуку она выкинула дней шесть назад! В Астабенских вывели на меня гончие молодого волчка; она вынеслась первая к нему, на всех духах, да как понюхала — не тем пахнет, верть да, поджавши хвост, ко мне под лошадь!... Ну, теперь, господа, я вам покажу собаку, которая

поистине дивит меня самого. Васька! Приведи своего чернопегого[165]!

Ко всем впечатлениям, испытанным нами при осмотре прежних собак, нам оставалось бы прибавить немного к достоинствам чернопегого, если б Алексей Николаевич не объяснил некоторых подвигов этой удалой собаки. Васька один, кажется, был недоволен холодным рассказом своего барина о его любимце, посредством которого он сам начал «выходить в люди» в кругу заслуженных уже охотников.

— А он должен быть зол, — сказал я, глядя на глаза чернопегого, которыми он смотрел как-то неприветливо.

— Напротив, — повершил Алеев, — смиреннее его едва ли найдется теперь собака в охоте, и присворен удивительно: от стремени ни на шаг.

Вечером, во время чая, когда мы, простившись с семейством Алеева, ушли к нему наверх и облеклись в халаты, главные охотники принялись рассуждать о подробностях начертанного заранее маршрута. Это для меня был в высшей степени занимательный разговор,

потому что мнение Атукаева резко расходилось с мнением большинства, на стороне которого был и Алеев.

Возник вопрос: прямо ли идти нам в степь «на лисьи места», или взять по пути места трудные, но верные, где было отозвано несколько выводков волков ловчим Феопеном, за которые он ручался. Алексей Николаевич крепко стоял на том, чтоб брать поле[166] в Чурюкове, где были подвыты и сосчитаны волки; граф знал это место, но трусил его: он уже не раз уходил оттуда, **не видя шерстинки**, с измученной стаей.

— Правду тебе скажу, по совести, — повторял он раз, до двух, — я боюсь Чурюкова как огня! Тут, мне кажется, не справишься никакими силами: место крепкое, уйма, разлетистое[167]; тут мы ничего не сделаем, изобьем собак, а время уйдет!

— Помилуй, граф! — возражал тот. — Чурюкова бояться — лучше и охотником не слыть. Я, третьего года, в одно поле взял оттуда девятнадцать, и в том числе двух матерых и шесть переярков[168], да прошлый год, приходом из Бокина, с измученной стаей и под-

битыми сворами, кинул по пути, и то добыл шестерых!... Скорее же в Бокине не справишься без тенет[169], а тут что...

Надо сказать, что подобная фраза в устах другого охотника была бы чистое самохвальство, но в устах Алеева это было больше ничто, как сама истина; о предмете этом он и говорил как бы мимоходом, по необходимости.

Бацов, Стерлядкин и Владимирец восстали общим бунтом против Атукаева и твердо держались мнения Алексея Николаевича; все они, как я заметил, жаждали скорее увидеть в деле его стаю и ловчего Феопена, которого слава была утверждена давно и окончательно. Притом же травить матерых волков одной псарской сворой, а при нужде принимать из-под одной собаки для многих казалось чем-то невероятным.

— Ну, как знаешь там... — повершил граф. — Ты ведь всему голова, и пословица говорит: «Куда голова, туда и ноги...» Я только вот насчет лисьих мест... все боюсь, как бы нам не опоздать.

— Как ты это судишь, граф? Да знаешь ли, что нам раньше октября в те места носа со-

вать не следует!... Ведь там степь не нашей чета! Разлет, соры[170], уборка поздняя (хлебов), время теплое, зверь не в рыску[171]. Пусть-ка эти господа, горяченькие (говорят, уже полетели туда), попробуют!... Уверяю тебя, что они останутся без собак и вернутся ни с чем, а мы возьмем обапол[172] полей шесть славных, выстоимся вовремя и, с свежими собаками явимся к месту... Итак, решено? в Чурюково?

— В Чурюково! — крикнул Атукаев, стукнув кулаком по столу.

— Ура! У-ра-а-а! — закричали мы разом, так, что, кажется, стены дрогнули.

— А я-то? Я-то? Отец семерых детей! Из Владимира в Чурюково! — прибавил Владимирец пискливым голосом, складывая крестообразно руки, и рассмешил всех.

Вошли Афанасий и камердинер Атукаева.

— А вот и твои прибыли! — сказал Алев. — Афанасий, вели же разместить охоту и накормить людей.

— Да ведь охоты моей тут нет; она в Лозовке...

— Как же это? Отчего же не сюда?

— Ну, нет, я себе не позволю этого! — возразил Атукаев. — Пусть ловчий посмотрит, тогда и соединимся... в случае какого-нибудь несчастья... да я лучше всех лишусь, чем сделать неприятность, особенно тебе!

— Вот еще нежности! Ведь у тебя собаки здоровы?

— Да, это так, только не наше дело! Пусть ловчие там как знают[173].

На другой день утро мы провели в манеже, где часа три продолжалась выводка лошадей, потом по-прежнему отправились в дом к обеду, в часу в четвертом после обеда уехали на псарный двор смотреть гончих; для меня, собственно, интереснее было взглянуть на личность алеевского ловчего Феопена.

Околесив страшного размера господское гумно, мы спустились к мостику, где, на омытом речкой с трех сторон бугре, был устроен псарный двор.

— Где Феопен? — спросил Алеев у выжлятника Пашки, попавшегося к нам навстречу.

— Ушел в проводку.

— Вот те раз! Приехали, а смотреть не на что. Феопен-то стаю увел. Да скоро ли он вер-

нется?

— Запарка[174] готова, — отвечал Пашка. — Сейчас станем кормить.

От безделья я занялся рассматриванием местности; направо поле высоким гребнем тянулось над рекой вдаль и заканчивалось у села Никольского; налево, в версте от нас, у сельца Воскресенского, над берегом той же реки шумела красивая ольховая роща; кругом были луга, а сзади — Братовка.

— А вот и он! — сказал Атукаев, указывая по направлению к роще.

И точно, Феопен, незаметно для нас, подошел берегом реки к мостику; на нем был помятый картуз, синя поддевка и длинные, выше колен, сапоги. Под мышкой он держал арапник, а за спиной у него висел большой длинный рог.

— Это он. Да где же стая? — спросили разом Стерлядкин и Бацов.

— Верно, бросил где-нибудь в поле, — отвечал Алеев. Между тем Феопен, увидя наш экипаж, подошел к кучеру, понюхал табаку, спросил что-то и той же медленной стопой подошел к нам и снял шапку.

— Здравствуй, Феопен! — крикнули граф и Бацов.

— Здравия желаю... изволили прибыть... вот и хорошо!... — Феопен наклонился к корыту и опробовал рукой налитую в нем запарку.

— Где же твоя стая? — спросил граф.

— Да вон... шишкинских гусей стерегут. Давай сухари! — прибавил он, обратясь к Пашке.

Граф, Бацов и прочие охотники в недоумении глядели друг на друга. Гораздо после я уразумел значение этой переглядки. Было отчего разинуть рот любому охотнику: ловчий уводит несомкнутую[175] стаю за версту, за две, то есть туда, откуда слышен рог, в лес, в поле, в луга, где ходят гуси, пасутся овцы, мычат телята; крикнет он собакам: «Стай-сь!» — и стая сучилась, сжалась, уселась и глядит, поднявши головы, как, понюхивая табачок, ее пестун бредет один до дому, и когда-то ему вздумается позвать в рог своих послушных деток?... Сидят собаки, не шевелятся, ждут, а вокруг них столько жирных, лакомых блюд!... Там гусыня гогочет к стаду, тут мычит телок... Да! Спросите у любого ловчего о подобной

проделке, и он станет клясться, божиться, что тут действует не человечья, а нечистая сила, а между тем у ловчего Феопена это дело будничное, урядовое[176]; это его азбука — склады увидим после...

Пашка принес полумерок сухарей; Феопен рассыпал их по корыту и размешал лопаткой, потом вскинул рог через плечо и дал позов. С этим звуком роца огласилась визгом, и стая без смычков помчалась к мосту: охотники наши пристально глядели на собак, я, не отрывая глаз, смотрел на ловчего. Детина этот был лет сорока, роста среднего, плечист и крепок. Черными полуоткрытыми глазами своими глядел он ровно, устойчиво; глаза эти как-то лениво переходили с предмета на предмет. Говорил он плавно, с отрывом, подумавши, как будто нехотя. Длинный носина его был наглухо заколочен частыми понюшками табаку, отчего Феопен гнусил, произнося слова. Но как резко, при всей этой неразвязности манер, неклеякости протяжной речи, обозначался в нем один из тех русских мудреных людей, которые «себе на уме», которые «не дают маха»!

Собаки скоро очутились на бугре и уселись в два ряда вокруг корыта, в таком от него расстоянии, что можно было между ними и корытом проехать на телеге. Феопен снова взбуровил овсянку лопаткой, стукнул о край и крикнул: «Дбруц!» Собаки живо кинулись к корыту и принялись лакать.

— Ну, Феопен, ты колдун! — сказал Атукаев.

— Чем это... ваше сиятельство?

— Да как же? Кому ж придет в голову кинуть в чужом поселке, заглазно, разомкнутую стаю! Долго ли до греха?

— М-м... ничево-с... они привычны... Стой! — крикнул Феопен собакам.

Собаки тем же порядком отскочили от корыт и выровнялись; Феопен снова размешал овсянку.

— Дбруц!

Пир начался снова.

— Что, ваше сиятельство, собачки наши служат вам?

— Как же! Соловей начал стаю править.

— А голосами как?

— Тонкоголосы оба: он и Кукла.

— Гм... этакой дряни и у нас много!...

— Ну, давай менка. Я двух толстоголосых отдам за одного пискуна.

— На что ж?... Не замай пищат.

— То-то; ты себе на уме... Вот я бы этих арлекинов[177] пару взял.

— На что ж?... Они и нам годятся...

В таком роде длился у них разговор, пока не вернулся Алеев с псарного двора, куда он уходил с Владимирцем осматривать молодых гончих; он объявил Феопену на утро, в десять часов, выступление.

— Слушаю. А куда идти думаете?

— Идем в Чурюково.

— Слушаю!

Мы уехали.

На другой день, часу в восьмом утра, охота наша в полном составе пришла в Братовку и въехала на двор довольно парадно; алеевские охотники вышли навстречу к своим собратьям, здоровались с людьми и осматривали собак, после чего обе партии отправились в один из флигелей, где был приготовлен для всех завтрак. Начали выносить и укладывать наши пожитки; часа два времени прошло в

суетах и сборах; особенно на дворе было до крайности пестро и шумно. Я почти не отходил от окна и засматривался на эту разительную картину: там борзятник оделял недоеденным пирогом свою свору; тут конюх отъезжающий перебранивался с конюхами-домоседами за подмененный недоуздок; два обозничих разбивали на звенья огромный ворох тенет и укладывали счетом в тенетную фуру; подле них дворовая женщина, в синем холстинковом платье, в белой косынке на плечах, совала сыну-борзятнику две чистые сорочки и что-то съедобное в узелке; тут вострая борзая сучонка вертелась кольцом перед двумя волкодавами, а те щулили уши и топали как индейские петухи, с поднятыми кверху хвостами... Наконец явился Алексей Николаевич в полном наряде и возвестил нам минуту общего подъема. Подпоясавшись черкесскими ремнями, с сворами через плечо и кинжалами у бока, мы всей компанией вышли на крыльцо. Обе охоты были в полной готовности к выступлению. Охотники были одеты легко и щеголевато, несмотря на походное свое положение: один только Феопен наря-

дился в какой-то длинный балахон, в котором он, с своим носом и помятым козырьком, был похож на пленного турка.

Алеев подал знак, — двенадцать борзятников сошлись в кучу и сыграли свой позов: звуки были как-то торжественны и грустны и проникающи глубоко... Собаки взвыли и запрыгали. Из дому высыпал народ — и дети, и няньки, и дядьки, и куча зевак. Все это глазело, слушало... и вот Феопен взмогнулся на своего солового киргиза[178], снял шапку, перекрестился, подсвистнул стаю и тронулся со двора; за стаяй тронулась другая, потом пошли своры, за ними двинулся обоз... Мы ушли в дом: там, на круглом столе, был уже готов для нас сытный завтрак; есть не хотелось никому; все мы были как-то странно настроены: воображение рисовало в бессвязных картинах эту степь и даль, и чудилась заранее тревога нашей кипучей кочевой жизни... Но вот загремели колеса и бубенчики под крыльцом; все мы, по обычаю, уселись по местам, поднялись враз, помолились; Алеев простился надолго с семьей, и мы в четырех экипажах съехали со двора...

Теперь, господа, до свидания в Чурюкове.

IV

Статья *intermedio*[179] о том, что такое ЛОВЧИЙ, каков он есть, и каким ему быть подобает.

В мире, нас окружающем, есть много таких лиц и предметов, с их относительным значением, о которых, говоря мимоходом, вскользь, мы выражаемся с уверенностью в полноте и непогрешительности их понимания; а между тем, в иную пору, спрашивая себя добросовестно о том или другом предмете, кажущемся нам как нельзя лучше ясным и понятным, мы станем в тупик и не придумаем, что отвечать на свой навязчивый вопрос. Кажется, понятно различие между санником и колесником: так вот, и думается, что санник ни за что не натягнет обода на спицы, а колеснику и вовек не умудриться накрутить вязок[180], уравнивать полоз и тому подобное, а спросите-ка иного краснобая, что такое санник и что колесник? Вот тут и выйдет запятая... А что такое ловчий? Слышится мне

прежний вопрос, несмотря на то, что я уже имел честь докладывать однажды, что ловчий есть, во-первых, человек, как и все мы, люди, а во-вторых, охотник, правящий стаей гончих собак. Но чудится мне снова, что этот вопрос, словно нить Ариадны[181], потянется за мной далеко, если я не скажу теперь же несколько вразумительных слов о том, что такое ловчий.

Итак, вместо описания грустной картины нашего ночлега в «степных двориках» (лежащих, не знаю, под каким градусом широты и долготы, верстах в двадцати от села Чурюкова, куда мы держим путь) я счел за лучшее познакомить вас короче с этой, стоящей внимания, личностью.

Ловчих есть два, пожалуй, даже три рода: может быть, кто-нибудь отыщет их и больше, да о тех говорить не стоит, потому что они люди такого сорта, для которых все равно, быть ли ловчим или каменщиком, плотником, сапожником — одним словом, быть тем, чем им **быть приказано**. Следовательно, каждый из них попал в ловчие только потому, что ему не пришлось быть ни пастухом, ни

дворником. Но ловчий по природе, по призванию, **по охоте** — это другое дело, и дело новое, невообразимое для тех, кто не испытывал на себе и не видывал из примера, на что бывает способен человек, и что может сделать он по увлечению, по страсти, **по охоте**. Ловчий по призванию — это абрек[182], сорви-голова, жизнь — копейка! человек на диво другим, человек, по воле, по охоте обрекший себя на труд, на риск, на испытание, на истязание... по натуре своей он должен быть не ровня другим людям: это — натура-особняк, это двужильный, железный человек!

Говоря об артисте, нехудо иметь некоторое понятие и об инструменте, на котором он играет, и потому скажем вначале кое-что и о том орудии, или инструменте, посредством которого ловчий приобретает себе или громкую известность и славу (конечно, между охотниками) или совершенное бесславие.

Из всех собак, которые по своей породе и свойствам принадлежат к различным родам охоты, едва ли отыщется хоть одна, которой бы суждено было терпеть такую скорбную участь, какой обречена наша русская, так на-

зываемая стайная, паратая гончая собака[183]

По самой уже природе она предназначена к постоянно тщетному разыскиванию чего-то, вечно убегающего от нее, о близости которого доносит ей тонкое чутье; она тянется из всех жил, работает до истощения последних сил, носится, ищет, гамит[184], хлопочет, и все это для доставления потехи другим, сама же не может и не смеет дотронуться до предмета своих вечных поисков, и чуть она отрыскала, увлеклась дальше своего предела, как уже крик выжлятника и грозная рука с арапником встречаются и провожают ее к новым поискам, гоньбе и тревоге. И за всю эту усердную службу в награду — **скудная запарка**, всегдашний кнут и вечное заключение в тесную закуту в обществе неуживчивых и задорных товарищей, среди удушающих миазмов, грызни, блох, болезней, под тяжким гнетом неволи, укорачивающей и без того ее недолгий век.

За что же эта необходимейшая и самая дорогая собака в охоте, эта рьяная, самоотверженная, добыточная труженица и вернейшая

помощница охотника, доставляющая ему одно из наилучших для него удовольствий, оставлена им в таком черном теле и не выходит ни на миг из-под тирании своих грозных надсмотрщиков и стражей, в то время как сухопарая борзая и вислоухая лягавая[185] пользуются таким почетом и ласкою господинна, едят с одной с ним тарелки, спят на мягких диванах и пользуются всеми благами и дольств и свободы?... А за то, что ни одна из охотничьих собак не обладает таким количеством зверских инстинктов, сколькими наделена гончая собака, преимущественно зверогон; его жадность, заркость и злоба, без постоянного внимания и строгого за ним досмотра, ведут его прямо к зверской одичалости, к «набаловке», то есть он из зверогона делается «скотинником» и может разом испортить всю стаю. Оттого-то выдержка стаи гончих так трудна и требует большого терпенья, умения и мастерства. Мы уже видели мимоходом пример выдержки собак, и то, что заставило охотников опытных и знающих, то есть графа и Бацова, ахнуть от удивления при взгляде на стаю, брошенную ловчим в поле, без призора

и острастки, чтоб знать причину этого удивления. Постараемся уяснить ее примером, более общим и, к сожалению, не редким во многих охотах.

Положим, что общий наш знакомый, примерно г. Икс, вышел, как водится, поручиком в отставку и, поселясь в опустелом отчем доме, вначале принялся горячо за так называемую агрономию; провозившись года два с этой штукой, которая прежде ему и во сне не грезилась, он сбил с толку старосту и уполовинил собственный доход, наконец рассердился, захандрил и растянулся вдоль дивана с трубкою в зубах и с твердым намерением лежать и скучать, но лежать и скучать подчас бывает очень скучно.

Толпа приспешников и прислужников рабски поглядывает на Икса и, подмигивая глазком, извещает друг друга, что, дескать, барин наш «тово». Понявши широкий смысл этого «тово», ближайший из прислужников и доверенное лицо, сиречь **камардин**[186], улучив минуту, закладывает за спину руки, прилипает к притолоке, заводит длинную речь о том о сем, и заключает ее тем, что их милости

за гля ради скуки следует завести свою охоту. На дельное возражение барина, что если он не нашел достойных сподвижников и исполнителей по части агрономии, то откуда возьмет он охотников, потому что это дело требует и охоты, и знания, и прочее, и прочее, камардин возражает еще дельнее: что, дескать, помилуйте, сударь! Да нам ли не управиться! Плевое дело охота! И так далее. И это плевое дело сделало то, что г. Икс всю ночь промечтал о медных рогах и кафтанах с позументом, и наутро составилось новое совещание, на котором положено, что виновник затеи, то есть его камардин, исполнит роль стремянного, Ваське и Петрушке быть борзятниками, а скотнику Ефиму, что еще при покойнике дедушке ездая при гончих и знает дело, быть ловчим. Конечно, Ваське и Петрушке объявлено, что они борзовики, а скотника Ефима потребовали к барину налицо.

— Сдай свою должность Афанасью. Ты получишь надбавку мещины[187] и будешь ловчим, — говорит г. Икс тоном диктатора и обладателя рода человеческого.

— Слушаю-с!

— Ступай, пусть снимут с тебя мерку на охотничий кафтан.

— Слушаю-с!

— А после поедешь вот с ним для покупки гончих у помещика Охабнева; только выбрать лучших, первый сорт...

— Слушаю-с!

Итак, дело устроено. Семь смычков[188] первый сорт гончих и пять свор удивительных (по словам Охабнева) борзых прыгают у крыльца вокруг разряженных охотников; подводят Иксу коня, и он приказывает ловчему идти в такое место, **где больше зверя.**

— Слушаю-с, — отвечает преображенный скотник, красуясь в зеленом кафтане на барской пристяжной, и топчет неистово свою стаю.

Чтоб найти побольше зверя и потешить барина, ловчий избрал заранее местом своего поприща самый большой и частый лес. Пришли. Барин и новые охотники стали по местам, где кому пришло по нраву; посвистывая, ловчий въехал в опушку: ни с того, ни с сего собаки рывкнули и понеслись; поскакал и ловчий, куда, зачем, — никто не знает... Сто-

ят, ждут: вот, вот побегут зайцы, лисицы, волки. Пожалуй, не выскочил бы медведь!... У всех глаза и уши настороже; но вот прошел час, прождали другой, из лесу ни слуха, ни послушания... Не выждал Икс: шлет он Петрушку искать ловчего — пропал и Петрушка; шлют Ваську привести Петрушку — и Васька словно в воду канул... Наконец, выпуча глаза, на взмыленной лошади несется ловчий из леса и кричит стремянному, не встречал ли он собак?

— Каких собак?

— Да гончих... чтоб их разорвало!...

— Послушай, скотина, — кричит Икс, — если ты у меня растеряешь собак, я тебя тогда!...

— Слушаю-с!... — И ловчий скачет шибче прежнего и трубит неистово...

Стоят и ждут барин и стремянный — и дождались до вечера! А вот вышла наконец одна гончая из леса на опушку и облизывается. Грудь и морда у нее в крови. За нею приплелась другая, такая же красненькая. Сошлись и все, а ловчего нет как нет... Явился наконец ловчий — Васьки нет. Вернулся Васька — Петрушка пропал... Что за диво! Отродясь таких

чудес никто над собой не выдывал! А дива нет тут никакого: дело видимое, простое: леший сшутил, вот и весь сказ! На том решили и тронулись в обратный путь. А отчего гончие в крови, — о том и слова никто не вымолвил. «Должно быть, так надо», — думают барин и молодые охотники. Только Петрушка, вернувшись из лесу, пошептал что-то ловчему на ухо, а тот почесал затылок да махнул рукой.

Второе поле задумали взять там, где бы не было леших. Выбрали залежи[189]: место все в отъемах[190], а зайцами — пруд пруди! Вот разравнялись полем и едут к месту: борзятники хлопают по межам, а ловчий ведет стаю и любуется на выжлеца[191] Громилу, как тот тянет передом и вскидывает нос на ветер. «Должно быть, верхочут»[192], — думает ловчий, глядя ласково на выжлеца вместо того, чтоб дать ему кнута и вернуть стаю; а Громило поднял нос еще выше, рывкнул и пошел писать... «Стой! Стой! Назад!» Не тут-то было! Рванулась и вся стая следом за старым вожаком, поскакал и ловчий...

«А, верно горячий след», — думает Икс в простоте сердечной и шлет Ваську и Петруш-

ку на помощь к ловчему. «Вот теперь-то увижу настоящую травлю!» — думает он снова и подается вперед, глядя на шапку ловчего, чуть видную из-под бугра, и... перед баринном вскоре развернулась картина в полном блеске! Десять овец лежать на лугу уже бездыханные, стая накинулась и теребит телка... борзые шныряют по стаду за поросятами... Кричит Икс, кричат охотники... Грозит Икс выпороть ловчего; тот кричит: «Слушаю-с!», топчет овец лошадью и порет кнутом свою остервелую стаю. А вот на крик пастухов является толпа баб, мужиков с цепами и дубинами... Икс заскрипел зубами, махнул рукой и помчался к дому, проклиная себя, и Охабнева, и собак, и охоту, и охотников. Пора, однако же, нам обернуть темную сторону медали.

Из этого примера, я думаю, достаточно понятно то, что можно и должно требовать от каждого ловчего и сколько требований, по строгому уставу правильной псовой охоты, обязан он выполнять враз, в одно и то же время, а сверх того иногда удовлетворять и «затем барина», этой, большей частью, ни к чему не ведущей помехе делу.

Для отчетливого выполнения своей обязанности ловчему необходимо первейшее из условий: железное здоровье, и с ним вместе — страсть к своему делу. С ними не страшны для него ни бессонные ночи, ни те труды, о которых говорить не станем, потому что увидим их со временем на деле. С этими двумя качествами он должен совмещать в себе следующие необходимые достоинства: искусство в езде, то есть сметливость, проворство, находчивость, умение сбечь стаю, а главное — мастерская выдержка собак, неусыпное наблюдение за ними, заботливость об отвращении заразы и чумы; порсканье, удальство и прочие атрибуты, за которыми гоняются многие бары-охотники, я признаю в ловчем достоинствами второстепенными.

Говорить отдельно о каждом из этих качеств здесь не место, лучше мы дотронемся до орбиты годичной деятельности настоящего ловчего.

Зима на дворе, покончились мелкие пороши, занастел снег, запер ловчий стаю на лежку и сам справляет каникулы, то-есть протянулся вдоль лавки под окном и сосет свою но-

согрейку да сходит вечером в застольную поточить лясы, порядиться о святках скомо-рохом и тому подобное. Впрочем, и в это время есть у него забота, и важная — **блюсти выжловок**[193], но этот предмет мы пройдем молчанием и оставим ловчего на боку до тех пор, пока не сошла вешняя вода, не заиграл в полушку[194] лист на молодых березках; пришла, значит, ловчему пора седлать коня: за неделю до выхода подвалил он погодков выжлят[195] к стае, дал им обнюхаться, обседеться — и прощай, родимая сторона! Верст за пятьдесят ведет он старую, умелую стаю, перемкнувши ее с молодыми, и стал в бору на месяц сроком. Изо дня в день, утреннюю и вечернюю зори, гамит, трубит и скачет ловчий по лесу... Вот **молодые** узнали след, идут **в добор**[196], не гонят **по зрячему**[197], стали **тверды тропе**[198], перестали **скальваться**, узнали **позов**, затвердили голос своего пестуна, привыкли к **стойке**, — одним словом, ловчий подровнял стаю, а сам узнал голоса, изучил помычку, исследил характер гоньбы каждого новобранца, и вот, к петровским заговорьям[199], привел их домой на отдых, на по-

правку. Взгляните теперь на ловчего: глаза у него гноятся и горят, как раскаленные угли, лицо раздулось от комара, борода отросла на вершок, горло издает звуки на манер чугунового котла, осип наш ловчий, разломило его! Ничего, вздохнет, оправится. А когда прикажете ему заняться этою оправкою? Петровки «на дворе», а у него не подвыто, не сосчитано ни одного гнезда[200]! Времени осталось «нисколько», до Успенья[201] «рукой подать», а там... На другой день, утром, наказав выжлятникам настрого, что, дескать, без меня, пока вернусь: «Сороку в отсадку, Крутишку в подмазку. Заливку выпустить в отгул. Бушуя с Бандаркою запереть в случную, а у Ворошилы, как при мне, восцу засыпать», ловчий наш заседлал свежего коня и к вечеру, за сорок верст от дома, поджидая солнечного заката, сидит на завалине у Щепиловской мельницы, а клинобородый хозяин бает с ним на такую статью: дескать, азарьинским приходит круто: голов двадцать пощетили[202] за весну; а кунаевские — хоть со двора не спускай: что ни день, то овцу или жеребенка стащат.

— А отголос ваши ребята слыхивали?

— Как не слышать! Почитай, что ни день, в наших верховьях воют!

— Ну, ладно, дядя, пригляди за лошадью, а мне пора.

— Да ты бы щец хлебнул, родной! Сем соберут.

— Нет, спасибо, пора.

И вот, идучи лесом, с арапником под мышкой, и доискиваясь между махоркой в кисете кремня, ловчив наш думает:

«Ну, коли в Куняеве да в Азарьине похватывают, так гнездо на старом месте».

Пришел он к «верховьям», прислушался, глядит... Направо простлалось круглое озеро, словно зеркало из вороненой стали, только в одном углу его еще дрожит и медленно тает розовая полоска от запоздавшего луча; от него широким клином вдавилось болото в бор, над болотом всплывает и стелется тонкий вечерний пар... Тихо, пустынно, таинственно, тепло и девственно кругом. Ни звука, ни шороха... только зяблик время от времени заведет свою печальную заревую песню, да запоздалый чирок просвистит крыльями над чащей и свалится опукой[203] в тем-

ную гладь озера. Вот еще молодой месяц, словно запятая, черкнутая тонким пером, прицепился к макушке сосны... Сидит ловчий на пне и выколачивает о каблук золу из носогрейки[204], но, чу... направо у плеса что-то шуркнуло, плеснуло... Вот зарычала «старуха», грызнула одного, пискнул другой... рассыпались, зашлепали, взвизгнул еще один тонкий голосок, и вслед за тем — мерная хода, словно телок побрел по мелководью, ближе и ближе... прилип ловчий к сосне, глядит, чуть дышит... Вышла! Встряхнулась, постояла, прислушалась, пошла...

«Незамай, обсидаются», — думает ловчий и садится у сосны. Прождавши свое время, он приложил ладони ко рту и воет «старухиным» голосом; у плеса заворошились волчата, один взбрехнул, двое отозвались, а на той стороне болота загудел переярок. «Ладно!» Взвыл опять. Подхватили все враз и зашлепали по болоту прямо на голос. Вот один по одному вышли на луговину и принялись кататься и играть, теребить друг друга... А ловчий глядит да шепчет: «Раз, два, три... первой, другой, семеро! Ладно!...» Поиграли волчата и

ушли: ловчий пошел кругом болота оглядывать по заре тропу...

Недели через две после этого вытья проезжий мужичок подает барину письмо под восковой печатью, залепленной грошом; в нем бестолковейшим манером изложены похождения нашего ловчего.

«А докладую вашей милости по отпуске письма сего здрав только меня разламило прибываю теперь на Любани, а думаю ехать в чумкины — завалы, а зачал я от щепиловки — гнездо проверил и маладых семь и бревнисты ранние, а на утре три переярков перевидал и матерого, а матерым все ход один все с поля от азарьина, а в телятниках мужики гнездо тронули молодых перебили а старие вышли в тукуеве промучился под гнездом три дня, а нашол-таки матка из молодых воржи свела на чистоту только четверо — ледящи малы, а гнездовики вышли оттедова в зарамное, всех перевидал ночи не спал, в грачах просидел под отнорком две ночи лисят семеро а всех по сей день подвыто деветь гнезд да три лисиих а вперед постараюсь. А ребятам наказоваю коли у ворошилы восца праш-

ла то и ладна, а заливку пара запирать а катора запустуит ту в атсадку а то и так собак мало а приеду вчем будет недогляд больна изабью, округ втарова спаса надеюсь прибыть, за тем — дела подходят».

И вот, за два дня до Успенья, ловчий вернулся домой И «докладает» барину, что подвыто гнезд шестнадцать, да огляжено пять лисьих выводков, а сам чешет в затылке да побряхтывает, что времени «нисколько», и что до настоящей езды осталось две недели!

Оставим же теперь ловчего с его проводкою и подготовкою к «езде» и выхватим себе на погляденье только один из тех осенних дней, к которым он так заботливо готовился весной и летом.

Вот клонится серенький осенний день к вечеру; мелкий дождик, как булабочные головки, сыплет в лицо и щиплет за уши; ловчий вызвал мокрую стаю из болота и резким ходом ведет ее на ночлег; борзятники, один за одним, поспешают за ним следом. Вот подвалила охота к двору; ловчий скучил стаю на улице и пошел оглядеть хозяйских собак, нет ли заразной чумной; заглянул в хлевы, руг-

нул обозничего за мокрую подстилку и свистнул стаю на двор. Въезжают борзятники, расседывают лошадей, выторачивают зайцев, уносят потники на просушку; в избе (откуда хозяйская семья перешла в холодную, а красную на дворе очистили для господ) повар хлопчет с ужином, появляются охотники, швыряют потники на печь, угромащивают шапки с рогами, сворами и арапниками на полку, распяливают мокрые кафтаны вокруг поластей; вбегает борзая, кладет голову на стол и умильно глядит на жареную курицу. Повар кричит, топает, гонит собаку; борзятник отпускает остроту насчет повара и курицы; рог и арапник валятся с полки и падают на блюдо с котлетами; брань усиливается, смех возобновляется; входят новые лица. Та же раскладка потников, распялка кафтанов. В избе стало душно, тесно, темно; голубой дым от махорки стелется пластом и колет глаза... Входят, выходят...

Голос из сеней: Дядюшка Игнат, к барину!

Голос из темноты: Нету-ть, уехал к тетушке.

Голос с полатей: Которого тебе Игната?

Голос из сеней: Игната Савельича, ловчего.

Новый голос: Нетути. Не приходил. Ищи у стаи, либо у котла.

2-й голос из темноты: Куда это? Видно, на проверку?

1-й голос из темноты: Известно, в проверку... В Зарамное, глядишь...

2-й голос из темноты: Нешто там подвыты?

Новый голос: А то как же! Завтра в Зарамном, а к ночи чтоб поспеть в Телюхи; ловчий сам сказывал.

Вбегает казачок: Охотники! Бурого белоглазого седлайте под ловчего. Скорей! (Делает козла и убегает).

Голос с полатей: Сбегай, Фомка, скажи выжлятникам.

Голос Фомки из темноты: А сам-то что?... Вишь, засел в каменны палаты!

Голоса: Ха, ха, ха!

Вновь вошедший охотник, развешивая кафтан: А у нас вот тут шатры шелковые. Что ж, ребята, полно скалиться, пора ужинать.

А тем временем ловчий стоит у притолоки в красной избе и, прихлебывая из блюдечка чаек, «докладает» барину, что завтра «беспременно следует брать Зарамное, чтоб к вечеру успеть в Телюхи на поверку...»

Сидят борзятники вокруг стола с ложками; пришел ловчий в избу, переобулся, сменил мокрый кафтан, второчил про запас чуйку [205], сел на бурого белоглазого и поехал со двора. На шестой версте свернул он с большой дороги на проселок, перешиб поле, подъехал к острову и начал подвывать, но отголосу не слышать; опоздал ловчий к месту: волки на добыче! «А как снесла их нелегкая совсем!» — думает огорченный охотник и выбирает местечко повыше, да посуше, садится на землю, надевает чумбур [206] на руку, накрылся чуйкой, раскурил с грехом пополам свою носогрейку, курит и слушает, как дождик пополам с крупой барабанит по кожаному потнику, и седельной подушке. Дождавшись рассвета, он сел на коня и отъехал дальше от острова, на темя бугра, откуда видно в даль... А вот направо полем **старик** тащит на спине овцу...

вот и **матка**; за нею четверо молодых протянулись в ниточку и идут след в след; с другого конца бегут на рысях два переярка и все, один к одному, спустились к болоту и пошли на логово. «Ладно», — думает ловчий, а самого бьет лихорадка, только не настоящая, а охотничья...

...К двум часам за полдень болото очищено, гончие вызваны, ловчий переобулся, то есть вылил из обоих сапогов воду и надел их на ноги без воды, взмогился на коня и повел стаю за двадцать верст в Телюхи. Тут по-прежнему борзятники сели ужинать, ловчий поехал «поверить гнездо»...

Каких сортов и видов ревматизмов не запасит себе на старость этот «охотник — не работник», этот **бездельный** человек в жизни; в которой из костей его не окажется зуда и ломоты, тогда, как, поконча с делом, подслепый, оглохший, забытый и брошенный, пойдет перепалзывать с лавки на печку... Эх, сказалося бы, да... пора в Чурюково.

Что-то вроде проклятия. — Мордва русская и французская. — Ливрейный картуз и двойник его сиятельства. — Два новые штриха по Владимиру и Бацову. — Чурюково. — Отзыв волков. — Ловчий и стая. — Травля. — Пирог. — Глухонемой.

На другой день мы торопились расстаться как можно ранее с скверными двориками, где каждый из нас, начиная от человека до последней собаки, претерпел в полном смысле слова те неудобства, какими, по примерной гадости, тесноте и вони, могут наделить путника (и, вдобавок, не даром) эти тамбовские караван-сарайи... Извините за отступление: право, и теперь меня разбирает зло при одном воспоминании об этом и ему подобных ночлегах, в которых, нельзя не прибавить, многие сочинители-патриоты находят столько поэзии и аромата, как будто, помимо этой копоты и вони, нет на Руси предмета для их хвалебных гимнов. Господи! Да когда же про-

глянут и приняхаются к настоящему делу эти восторженные певуны, когда, подобно шляпкам и кринолинам[207], войдут у нас в моду и человеческие пристанища?

Верстах в пятнадцати мы догнали обоз и охоту, пересели на заранее оседланных лошадей и, присоединив к себе борзятников обеих охот, тронулись до места. Любо было глядеть на эту длинную нить всадников, бодрых, развязных, веселых, с бравою посадкой, на одномастных, крепких и красивых лошадях. Может быть, мне бы и не пришло на мысль говорить об этом, если б справедливость моего впечатления не подтверждалась свидетельством совершенно посторонним.

По пути нам следовало проезжать помещичье село; охотники съехались и грянули песню; широкая улица вела селом к барской усадьбе, мимо сада которой лежал наш путь. Народ повалил к нам навстречу: мужики, с цепами и метлами в руках, бежали словно на пожар; мальчики и девочки орала во всю глотку; им вторили дворовые собаки, трусливо выставляя морды из-под ворот; куры взлетали, кудахтали и выкрикивали свою кури-

ную тревогу; впереди нас, подняв хвост, металась по улице испуганная телушка и ревела неистово; из сеней выскакивали на улицу черные, словно из трубы, закоптелые бабы и гамели к соседкам:

— Акулька! Акулька: глядь-кио-о-о? И на, какой, о-о! Мотька, не дури, съисть...

Но Мотька все-таки горланил как-то не по-человечьи доискивался в навозе щепки, чтоб метнуть ею в борзых.

1-й охотник. Вот она, мордва-то семиглазая... Кирюха, глядь-ка, вон выскочила: еще потемней!

Кирюха (к бабе потемнее): Ты, красотка, из которого села?

Баба ослабилась и закрыла рот рукавом.

3-й охотник (проезжая): Вот они каковы, нонешние!

4-й охотник: Хуже давешних.

5-й охотник: Ха, ха, ха! Новые — псовые, бурдастым[208] сродни...

Задние: Не замай, умоется... А то приснится.

Последний: Эй, матка! Рыло-то прибири в

чулан! К празднику годится...

Баба: Ишь ты... Мотька, не дури!

У решетки палисадника появились несколько дам и барышень; все они, как было заметно, жадно рассматривали и любовались нашим поездом; одна из них самая живая и восторженная, говорила без умолка: — *Voila chasseurs! Ah, guels chevaux. Regarde, Arehandrine, quelle charmaqnte птичка[209]!* Настоящая!... — И барышня протягивала ручку, чтоб приласкать Савельеву Красотку.

— Это, видно, охотница, — сказал Владимирец.

— То есть до собак? — прибавил Алеев. Пояснения не последовало. На балконе появился, должно быть, папаша этой охотницы; в этом явлении, конечно, важность не велика, но велико и важно то, как лоснилось и отдувалось у этого папаши брюшко, солидное, хорошее, настоящее брюшко, как мягкий, нежный подбородок папаши лежал в виде подковы на вздутой манишке, словно невареная колбаса; важнее же всего — как держал этот папаша салфетку в правой руке и как щурил

он один глаз, зорко, устойчиво оглядывая всех нас остальным.

— Ну, этот что, Виссарион Николаевич? — спросив граф у Владимирца.

Тот измерил расстояние, на котором был от папаши, отскакал саженой на пятьдесят вперед, повернул лошадь и поехал к нам шагом. В минуту этот способнейший копировщик отдул брюшко, прищурил левый глаз и так держал арапник в руке, что мы сразу признали в нем папашу с салфеткою и разразились общим смехом; Владимирец все-таки ехал и молчал, но лицо его как нельзя яснее договаривало: дескать, дурачье! Куда вас нелегкая несет? Нельзя ли этак... вот, холодная индейка... биток заказал, а пока подадут — грибки, вот селедка, рекомендую, сливки настоящие... для возбуждения... — И Владимирец зачмокал, простонал и посмотрел на нас с упреком, с сожалением: дескать, эх, пустой народ! Не знают, что нужно человеку!

Выехав из села, мы отпустили обоз и гончих вперед, а борзятники пошли в заезд и начали заравниваться. Вскоре все охотники вытянулись в прямую нить, версты на две рас-

стоянием, и принялись охлопывать межи и кустики: то там, то сям поднимали зайца, но свежие собаки не давали хода бедняку и мигом его залавливали; редкий русак пересчитывал две-три своры и все-таки попадал в торока. Бацов, я и Владимирец ехали втроем, сзади, без собак, и любовались изменчивым видом этой живой, постоянно движущейся картины. Отъехав версты за четыре от села, мы увидели шибко скакавшего вслед за нами вершника[210]; на голове у него было что-то вроде шара, по сторонам плескались два зеленые крыла. Вблизи оказалось, что это мчался к нам лакей в зеленой ливрее, а на голове у него торчал круглый плисовый[211], набитый пухом картуз, с желтым позументом на околыше. Не долго думая, посланец принял Владимира за графа и со всеми онерами[212] объяснил его сиятельству цель своей скачки.

— Прекрасно! А как зовут твоего барина? — спросил наш шутник, преобразясь в минуту и тоном чисто атукаевским, что, конечно, было понятно только нам.

— Павел Павлович Здобнов и супруги их Катерины Антоновны-с; они-с очень желают

полюбопытничать на вашу охоту; а больше того, ваше сиятельство, барышни желают — Катерина Павловна, Александра Павловна, Ненила Павловна, Антонина Павловна, Агафоклея Павловна, Пелопея Павловна, Федосья Павловна, Палаг...

— Прекрасно, прекрасно, мой милый... очень довольно... нынче, довольно! Завтра, если барину угодно взглянуть... очень рад, скажи... я беру волков в Чурюкове... Ну, кланяйся, мой милый!

— Слушаю-с!

— Да... вот что! Картузы эти у вас дома шьют?

— Никак нет-с. Заказные. Это ливрейные-с.

— Чудесно, удивительно! Ну... кланяйся... очень рад, скажи...

И самозванец наш очень вежливо пригласил нас продолжать путь.

Вслед за тем пошло у него представление в лицах семейной сцены, как Ненила, Антонина, Пелопея прочие Павловны упрашивают своего папашу послать гонца, как папаша велит этому гонцу надеть ливрею, пуховый картуз и прочее.

— Вот оно! Наконец, — произнес как-то торжественно Бацов, ударив меня крепко по плечу, и поехал молча.

Это «оно» было не что иное, как Чурюково, но оно было еще на десять верст расстоянием от нас. Перед нами, вдали, направо, начала темнеть гряда леса; от лесу, налево, становилось заметным село, а от него, полудугой, хлестнула тонкая полоса — и только. Я ехал и изредка поглядывал в эту даль, но больше смотрел на Бацова. Из веселого, рассеянного, он превратился в человека, озабоченного одною неотвязною мыслью; нетрудно мне было угадать эту мысль. Я знал коротко Бацова-охотника: он был близок к Чурюкову!

Люблю я Луку Лукича; он весь наружу, не любит рисоваться; да к таким незатейливым и честным натурам не липнет никакая подмалевка. Весь он как-то собрался и выразился в этом одном заветном для него слове «пустяки». Говоря о скверном, подлом поступке соседа, к слову «пустяки» он не прибавит ни одной буквы; чужую и свою беду, неудачу и прочее он клеймит одним словом: «пустяки»; богатство у него и бедность, горе и радость —

все пустяки! Глядя вскользь на Бацова, иной подумает, что этот человек настолько прост, сух и легок, что из него не выжмешь ничего другого, как те же пустяки, но кто взгляделся попристальнее в эту своеобразную, бесхитростную натуру, тот помыслит о нем иначе. Поконча со службой, Лука Лукич принялся за устройство дел семейных: присватался к его сестре жених; был он человек достойный, да «недостаточный». «Пустяки, — сказал Бацов, — седьмой части мало!» — и отхватил пол-имения собственного и отдал за сестрой в приданое; на остальной половине содержит себя и покоит старуху мать. «Чудак! С чем же ты останешься?» — говорят доброжелатели. «Пустяки», — говорит Бацов. «По крайности приезжай на выборы: мы тебя вкатаем в исправники[213]... заживешь, поправишься...» — «Пустяки, господа, вы этим меня не потчивайте», — говорит Бацов и едет на «узерку»[214].

А вот и Чурюково! Подъехав ближе, я начал внимательно рассматривать эту обетованную землю. Громадное село потянулось по крутобережью и ушло в глубь, откуда видне-

ются только главы двух церквей да шпили колоколен. Лес, что казался издали смежным, отошел теперь далеко от села на край горизонта. Перепруженная плотинами река образовала огромное озеро; налево оно узким клином вошло в непродерную кущу чепыжника [215] и камышей, между которыми густою дубравою стоят гигантские дубы и ольхи, и все это узкой полосой потянулось налево в даль, вон из глаз. По ту сторону над кущей этой тянется крутым гребнем глубокое поле; по сую сторону от озера, до нас, простлалась во всю длину местности широкая луговина; по ней бродил скот, лошади и паслось стадами бесчисленное множество гусей. Нечего сказать, приволье!

В виду Чурюкова охотники перестали хлопать и начали съезжаться к дороге: у всех висело в тороках по несколько зайцев. С помощью проводника, встретившего нас у одной из плотин, мы очутились в Чурюкове и пошли путать, — я бы сказал, из улицы в улицу, если б только можно было назвать улицею эту нить узких, перепутанных с примерной бестолочью, виляющих туда и сюда возмож-

ностей на проезд, огороженных вместо всякого заборника и плетня безобразною настилкой из перегнившей соломы.

Четыре двора были заняты для нашего временного пребывания в Чурюкове. В трех избах были очищены квартиры для нас, из четвертой доносилась к нам мелкая дробь от поварских ножей. Помещение это, после гнусного ночлега в двориках, казалось нам очень сносным: люди, прибывшие раньше нас с обозом, успели кое-что подмыть, подскресть, кое-где подсыпать песочку, завесить коврами и прочее. Четыре избы эти стояли одна к другой так, как будто между ними произошла недавно ссора; драки быть не могло, потому что их разделяла неправильная лужайка, обрамленная той же соломенной загородкой; эта площадка служила с пользой для нашего обоза и экипажей. Вскоре на ней образовалось что-то вроде ярмарки: зеваки обоего пола и всех возрастов набежали отовсюду и запрудили ее со всех концов.

Общая трапеза наша происходила в квартире Стерлядкина, как ближайшей к поварам; к чаю все собрались у Алексея Николае-

вича. Общий разговор как-то не склеивался; все говорили отрывками о том, о сем, и каждый заканчивал постороннюю материю неизменным вопросом: «Что-то будет завтра?» — «Найдем ли зверя?» — прибавлял другой тут же, не надеясь услышать ни от кого ответа на первый вопрос. Все знали, что для решения этой загадки был между ними только один человек — ловчий Феопен. Надежды было, конечно, много: волки подвыты, огляжены, сосчитаны, мы шли наверняка; но ведь могло же случиться, что какой-нибудь мужичонка, рассердясь за украденную у него овцу, «стро-нул гнездо» или матка увела гнездо на добычу и, обыскав место, перекочевала в **крепь [216]** и держит там выводок, а гнездовики перележивают в старом месте **набродом [217]**. Мало ли каких диковинок не случается в таком сложном и хитром деле!

— А что, Феопена ты поил чаем? — спросил Алеев у своего камердинера Петрушки, высокого, худощавого и статного малого, который, к слову сказать, был страстный охотник и считался первым борзятником.

— Как же-с, он напился давно.

— Как бы кликнуть? Вот от него узнаем скорее, господа!... Коли не заартачится! — прибавил потом Алеев.

— Ну, Феопен Иваныч, теперь держись! Теперь от тебя зависит вся наша потеха! — заговорили почти всё мы враз к вошедшему. Перешагнув порог, Феопен Иваныч изволил поклониться всей честной компании, оглянул нас по-своему и стал у двери.

— Ну, что, об гнезде слух как? — начал Алеев.

— Кто ш их знает!... Как скажешь тут? Мужичонков опрашивал которых, говорят — молодых видают.

— Ну, коли молодых видают, так и гнездовики тут! — подхватил граф.

— А как знать... Вашему сиятельству известно, чай, как верить мужику! У него что зарубил, потом и тешет... а там, поди, снуй основу[218]... — Феопен остановился, подумал и прибавил: — Вот проверим... без зверя не быть... где-нибудь да найдутся.

Как много в этих простых, отрывочных, как будто нехотя сказанных словах заключалось и твердой уверенности в себе, и необык-

новенного знания своего дела; у всех посыпались сразу доводы, предположения, заключения и прочее. Молчал только один Алеев; он знал своего ловчего и потому не стал больше разговаривать о возможности дела, а заговорил о самом деле.

— Как думаешь, тенетчики[219] нам будут нужны?

— М-м... оно не мешает крыл десяток перекинуть, там вот, изволите припомнить, у хмелины, в дубках, повыше пчельника, где матерой у нас пролез, место не без опаски... неравно, опять сунется. Ружейников поставить тоже не мешает: убить хоть не убьет, да все повынудит.

— Так ты распорядись. Вели Качнову, Дмитрию. Пускай еще кого-нибудь захватят с ружьем. Да чтоб колья подготавливали.

— Слушаю. Скажу.

— А если вместо тенет поставить своры две надежных? — спросил граф.

— Помилуйте, ваше сиятельство, как можно! Да тут какую свору ни дай — ототрется [220]! Место короткое, дубы в охват, ржавцы [221], перелойи[222], крепь, река. Собаку поте-

рять недолго! Чуть какая озарилась, — тут и протянет лапки... Вот спросите у барина, как Дорогой у них в дубках волка залавливал; разъехался, пришелся в дуб — только одноводохнул. А собака-то была какая! В свете первая! Ни разу не видал я, чтоб он силился, либо што... Как зазрел — голову кверху, и пошел козырем отсчитывать! Нет, таких собак у нас не осталось!

К этому панегирику о Дорогом Феопен Иванович не ждано не прошено приплел еще случая два-три, доказавшие, как опасно травить «в дубках да пеньках», и, угостивши нас этими побасенками, ловко избежал даже намека о том, что будет завтра, изволил очень вежливо раскланяться и объявил, что ему пора на «отзыв».

— Ну, Феопен Иванович, — сказал я, не выдержав и уступая сильному желанию сблизиться и изучить, насколько удастся, эту крутую, замкнутую натуру, — как хочешь, а меня возьми с собой на поверку! Я охотник внове: авось, с твоей легкой руки, начну помаленьку понимать дело.

— Как вам будет угодно. Только вашей ми-

лости неравно скучновато покажется... пора теперь глухая... зверь попримолк...

— Уж это не твоя забота. Скучно будет мне, а не тебе. Ты только возьми меня с собой.

— Что ж, поедемте. Только вот насчет спокойствия вам, как... может, придется остаться до утра?

— Да уж об этом не хлопочи.

— Так извольте собираться. Время несколько... Феопен вышел.

— Ну, что, господа, поняли вы, что он тут баил? — спросил Алеев Стерлядкина и графа.

Те посмотрели на него вопросительно.

— А я вам скажу, что это значит.

— Что же такое?

— А то, что волки у него за пазухой. Вот увидите: завтра мы наверное с полем. Я спокоен.

В девять часов я ехал о бок с Феопеном Ивановичем на **отзыв**.

Выехав из села, мы пустились по левой, то есть по нагорной стороне пруда к чаще. То спускаясь в изложины, то поднимаясь вверх, мы подвигались вперед молча. В воздухе была тишина невыразимая: ни звука, ни шеле-

ста; на небе недвижимо стояли тонкие облака, сквозь них чуть-чуть мерцал какой-то чахлый отблеск света; полный месяц, просекая туманную оболочку, расплылся по небу широким белым пятном. Спутник мой сидел в седле словно деревянный, только по воротнику фризowego[223] балахона, торчавшему высокой рамкой на затылке, было заметно движение его головы. Оставив пруд за собой, мы отъехали еще версты две полем и, приняв круто налево, остановились у самой окраины.

Не меньше, я думаю, часу торчали мы тут, как две статуи: не зная расположения Феопена Ивановича, я решился молчать и терпеливо ждать от него речи. Раза два луна показывалась на чистоту в полном блеске и минут на пять ярко освещала окрестность: у ног наших, в страшной глубине, тянулась широкая низина; по ней, разбившись на множество рукавов, лениво сочилась река, образовавшая дальше Чурюковское озеро. Между этими рыскавшими туда и сюда водными нитями в неправильных формах стлались камышовые плавуны[224], ржавцы, приболотни, затканые сплошным чепыжником; направо черне-

ла лесная куца.

— Вот вам и скучновато тут, — начал вполголоса Феопен.

— Напротив... я рад... Вот только ничего не слышно... — проговорил я, обрадованный случаем выйти на миг из апатии.

— Сыты, пострел их возьми, либо, чего доброго, в рыску... А гнездо тут.

— Где? — спросил я стремительно.

— Вон тут, вот, как кнутом хлестнуть — к той стороне, вот, за широким камышом, на плавуне, в чепыжнике.

— Как же ты узнал, где гнездо?

— Как не узнать!... Нахаживали не в таких крепях; это что: только летом мокренько, а зимой хоть в бабки играй... беляку простора мало.

Снова молчание.

Наконец далеко, на другой стороне болота, в поле, где-то к Чурюкову, взвыли два голоса.

— Это какие? — спросил я шепотом.

— А так, шатуны, от гнезда переейки; вот, побродят округ села, гуська где сцапают, либо к падали пробираются.

Вскоре от того места, где было гнездо, по-

слышалась мерная стопа по болоту, и три волка вышли саженьях[225] в тридцати от нас, поднялись на бугор и сели, один из них взвыл толстым голосом, подошел к березе, поднял заднюю ногу, поскреб лапами землю, и все трое пошли полем.

— Вот эти за делом идут, — проговорил им вслед Феопен.

— Какие ж это?

— Старик с переярками; на добычу вышли. А вот и она осаживает молодых, чтоб не шлялись зря, — прибавил мой опытный истолкователь, вслушиваясь в шлепотню и грызню в болоте, и вслед затем завыл сам резко.

Около десятка различных голосов отозвались разом в болоте, и тут же пошло новое плесканье и перегрызка; отслушавши и сочтя голоса, мы тронулись с места, спустились с крути и, проехав версты полторы луговиною, по край леса и болота, очутились у какой-то пустой мазанки[226].

— А который-то теперь час? — спросил Феопен таким тоном, по которому можно было заключить, что вопрошитель находится в добром расположении духа.

Для того, чтоб различить стрелки, надо было зажечь спичку, и я кстати закурил сигару.

— Ого! Мы долгонько простояли там: уже первого четверть.

С этих слов зашла у нас длинная и плодovitая беседа, но, увы, все мои дипломатические тонкости, все подходы разлетались в прах и лопались, как мыльные пузыри о каменную стену, именно на том месте, где, как казалось, нужно было мне сделать только один шаг, чтоб переступить из области догадки в область чистого сознания. Одно, что только мог я на этот раз уловить внутри этого замкнутого человека, это вечное недовольство настоящим, неудовлетворенная жажда к совершенствованию, постоянное стремление достигнуть крайнего предела, именно: доведя стаю до такой удивительной стойки, на какую, может быть, способна только одна легавая собака, я уверен, что он был бы непрочь доучить и гончую до искусства носить и подавать поноску, если б это не было уже безумием с его стороны и не служила к тому явным препятствием грубая и дикая натура гончей собаки.

Но в тех местах, где я с особенным искусством затрагивал в нем общечеловеческую и самую звучную струну, то есть самолюбие артиста, он был глух, беспробуден. Если я, тут же спохватившись, говорил: «Нет, Феопен Иваныч, я ведь говорю тебе это к тому, что я слышал о твоей езде уже давно — и в Питере и в Москве, от всех охотников», — ответом мне было:

— Да што, какая езда... то ж бывает иной... — И снова молчание.

— Опять-таки, — прибавил я, — стая у тебя, все говорят, удивительная!

— Да што стая... ничего, пицат... — И опять молчок.

Тут я забежал уже в тыл и для вернейшего успеха переменял оружие.

— Вот, пожалуй, — говорил я, — как бы нам и с хорошей охотой не обмишулиться, как Жигуновы охлопают[227] наши места, — и прочее.

— Да што, ничево... они себе... — И только.

— А как придется на пустодол? В места обобранные?

— Да што; найдется и про нас... без зверя

не быть... — И опять мы молчим.

В одном только месте он поскользнулся, и то на короткую дистанцию, но был речистее, именно когда я коснулся обязанности ловчего вообще и указал на несколько человек, плохо знавших свое дело.

— Конечно, иной не за свое дело берется; а иной, пожалуй, и рад бы, да сметки нет, а позаняться не от кого...

— Нет, уж этого мастерства, мне кажется, наукой не добудешь, — возразил я.

— Да, оно и с мастерами, тоже, всякое случается. Наше дело тож бывает задачливо... Конечно, насадить на гнездо не штука, да, поди вот, тут ведешь к месту, душа в тебе перемирает, не знаешь, ногой которой ступить, а тут какой с нагулу, отметный[228] — пырь тебе в собак. Как удержать? Не на вожжах!... Помкнули, зарвались, а там, глядишь, гнездо, сажен за тридцать, в сборе, на лежке, и расплылось, словно масло по каше... тогда, поди, накликай, снуй по заплеткам[229]! Нет хуже того дела... наказание... хоть изорвись — ничего не поделаешь! Изволите сами знать, каково бывает — как матка из-под молодых примет

на себя стаю да волочает ее на хвосту... кажется бы, так вот в землю живой ушел!

И с легкой руки Феопен Иванович изволил понюхать табаку и удостоил меня дальнейшей беседы; рассказал мне несколько редких случаев, но везде и во всем, где только участвовал он лично, собственную персону отодвигал на второй план, ставил в темноту, говорил о ней вскользь, мимоходом:

— Вот, извольте видеть, **кинули** мы гончих... Вот они, **по нечаянности**, и натекли... Вот они и вывели как раз на то место, словно кто им шепнул... — и прочее. — Отначе пора! — заключил он, вставая с места.

Мы сели на коней, поднялись на крутизну и пустились полем к прежнему месту. Заря разгоралась; легкий восточный ветерок подышал порывами; небо очистилось: все предвещало ведренный[230] день. Едва приостановились мы, и я успел лишь взглянуть на часы, как спутник мой прошептал: «Трогайтесь!» — и поехал медленно вперед; следуя за ним, я раскидывал глаза по сторонам, наконец, оглянувшись круто назад, приостановил лошадь: сзади нас, саженьях в сорока, матерой

волк нес на спине огромную белую дворную собаку с оторванной передней ногой; следом за ним шли переярки с полными черевами [231]. «Не стойте!» — прибавил мне Феопен. Когда волки спустились в болото, он поворотил лошадь назад и рысью подъехал к прежнему месту: по движению камыша и всплескам было ясно видно, что волки шли на логово.

— А вот и она, — сказал Феопен, указывая вдаль, на ту сторону.

С непривычки я едва мог отличить, версты за две, на той стороне, как волчица и следом за ней гуськом, растянувшись в ниточку, штук восемь молодых волков спускались с бугра в болото. На обратном пути мы еще перевидали трех переярков, тащивших по гусю.

— А откуда старик добыл такого здоровенного пса? — спросил я.

— Захватил на падали, — отвечал мой опытный наставник.

Когда мы подъехали к квартире, там уже все было в полном и суетливом движении. Базцов, Алеев, Стерлядкин и граф встретили нас на площадке и допытывались, что и как? Я

считал себя не в праве говорить; Феопен же изволил промолвить только: «Ничево-с... надо ехать...» — и пошел пояснять Качнову, где и как перекидывать тенета. Через десять минут две тройки с тенетами, кольями и ружейниками тронулись на рысях. Охотники ушли одеваться. Мы с Феопеном Ивановичем были приглашены пить чай. Все собрались у графа.

Минута ожидания чуть ли не радужнее, чуть ли не слаще минуты самого исполнения. Все были то в тревожном раздумье, то, вдруг оживясь, болтали какой-то вздор. Бацов, которому я не мог не сообщить тайком всего, что видел и знал, суетился, бледнел, колотил меня поминутно по плечу, заглядывал таинственно мне в глаза и десять раз выбегал прощаться с Караем, которого не мог еще взять с собой по случаю хромоты. Между тем Феопен Иванович, прихлебывая с блюдечка, приговаривал:

— Графских, которых по выбору, перетро-
стить [232] с нашими; свор двенадцать мне
нужны, в бугры.

— Кого ж ты думаешь взять туда?

— Первым делом старика Андрея поста-

вить: у него свора мертвая и привалена; к нему придать охотников попылчей, поглазастей, вот хоть нашего Николая да Егорку графского; затем Петра Григорича с двумя, а верхи займет Василий с двумя; в заезд пустить Афанасьеву свору.

— Ну, Афанасья мне бы хотелось поставить в заезде у себя, — возразил Алексей Николаевич.

— Вам бы все к себе! Там перетроститесь... у вас в заезде станет Никита-повар. Чего лучше? Собаками не возьмет, сам доправит, а тут неравно материки прорвутся... с кем орудовать, всего четыре своры!

— Ну, ну, ладно! Распорядись там. Прикажи всем, как знаешь, — перебил Алеев. Феопен ушел.

Ой-ой! Штой-то бу-у-удит?
Май-го ба-а-а-тюшку кладут с ма-
тушкой
Во ма-гилку!

И Владимирец, сидя на лавке, опустил руки и заголосил по-бабьему.

Все захохотали.

Допив свой стакан, я очутился на крылеч-

ке. На безоблачном небе солнце горело полным блеском. Охотники выводили на площадку оседланных лошадей; обе охоты разделились в парадные костюмы: графские были в зеленых кафтанах, расшитых серебряным галуном, и в малиновых шароварах с широким лампасом; алеевские — в новых черкесках с яркой оторочкой, поясами, патронами, блестящими рогами; все это сходилось и составляло группу, от которой трудно было оторвать глаза; но лица у всех были светлее и торжественнее самого наряда. Вокруг этих молодцов прыгали и гремели ошейниками сворные собаки. Шутка за шуткой, острота за остротой перелетали из конца в конец, и все это поворачивалось общим смехом.

А вот скрипнули ворота, выехал выжлятник Пашка черкесом, за ним появился Сергей, в такой же папахе, и следом Феопен, окруженный своими выжлятами, вывел в поводу солового; тот же помятый картуз на Феопене Ивановиче, тот же фризый бурый балахон до пят... опять появилось это живое изображение пленного турка между блестящими казачками и черкесами...

— Разве ты не всю стаю берешь? — спросил Алеев, глядя на малочисленность гончих.

— Да, што!... На кой их?... Будет и этих!... — И Феопен Иванович полез ногой в стремя. — Сергей, ты пойдешь правой стороной, с борзятниками, а ты, Пашутка, со мной, — прибавил он и подсвистнул собак.

Сергей остался; Пашка поехал с ловчим.

— Ну, Феопен Иванович наш сомкнул Бушуя с Крутишкой, а Громилу с Бандоркой — быть работе! — сказал борзятник Николай, следя за стаей.

— Работа — не работа, а осмелся-ка он не поставить волчка к моим собачкам, — самого приму в торока! — прибавил Никита.

Общий смех.

Голос из толпы: А кстати, он же ноне и глядит по-волчиному.

Борзятник Василий (Никите): Ты, пожалуй, чего доброго, от тебя станется... Вишь, у тебя на шее только что ободья гнуть. Как под ним лошадь устаивает!

Никита: Какую невидаль изволили сморозить, Василий Евдокимович! А мы авчера еще

знали, что я один полегче вас шестерых.

Новый смех.

Конюхи подвели к крылечку наших лошадей. Все вышли садиться.

— Кто идет направо? — спросил Алеев.

— Мы, — отвечали несколько голосов.

— Сколько вас?

— Одиннадцать свор.

— Ну, отделяйтесь!

Охотники разделились на две половины: одна ушла направо, другая примкнула к нам.

К девяти часам были у острова. Борзятники начали занимать места; Бацов, я и Владимирец отправились смотреть, как Феопен заводит стаю.

На лужайке, вдавшейся клином в болотную чащугу, сидели в тесном кружке разомкнутые гончие, тут же были две оседланные лошади, Пашка и Феопен; ловчий наш лежал на лугу, опершись на локоть, в каком-то полудремотном состоянии, и держал в руке березовую тавлинку[233], подле него были брошены рог, охотничий нож и длинный шест. На лево протекал один из рукавов реки; за

ним — зыбкая трясина, а дальше — камыш.

— Что? Еще не утыкались? — спросил нас Феопен.

— Нет еще, — отвечали мы. — Крайние на местах, а те еще расстанавливаются.

— Пашутка, глянь, как там у них?

Пашка вскочил на лошадь и помчался. Вскоре он прискакал назад и донес своему дядюшке, что своры обеих половин на местах. В то же мгновение долетел до нас короткий звук рожка. Гончие встрепенулись и подняли уши.

— Ну, кличут на ердань[234]! — проговорил наш ловчий, вставая с места, и, скинувши балахон, передал его Пашке — вторачивать. Оставшись в одной куртке и длинных сапогах, он принялся перевязывать голенища веревочками.

— Табачок-то прибрать поближе к носу; неравно — не отсырел бы, — прибавил, он, кончая перевязку, и, отсыпав из тавлинки в бумажку, положил ее в картуз.

— Пашутка, ты до помычки останься тут, нос к полю, береги лево да осторожней сбивай — не оттопал бы какого... Счастливо оста-

ваться, — прибавил он нам, вскидывая рог за плечи, и с пятиаршинным шестом в руке отправился прямо в реку. Очутившись по грудь в воде, он крякнул и подсвистнул к себе стаю; собаки затопали на берегу и, подбуженные Пашкой, с писком и визгом начали прыгать в холодную воду и поплыли вслед за своим пестуном.

Так учинилась первая переправа. Очутившись на берегу, Феопен принял направо трясиною; собаки молча пошли по пятам его гуськом, одна за другой, и скрылись вместе с ним в камыше.

— А для чего он потащил с собой этот шест? — спросил я у Пашки.

— Как же, сударь, без него нельзя! В плавунах по нем грудью перепалзывает; а иной случится в продушину попасть, — с головой всосет! А как шест под мышкой, ну, и не даст потонуть человеку: на него опрется и вылезет...

— Вот она, охота пуще неволи! — заключил Владимирец.

Мы поехали к месту на полных рысях; охотники, стоя саженьях во сту друг от друга,

окаймили остров длинной цепью и были все на виду; перед нами лежала такая ровная и чистая луговина, что на ней можно было свободно счесть даже гусиные перышки. Я стал возле Атукаева; налево от него был Ларка-стремянный, направо стоял Алеев, имея с правой руки стремянного Ваську, с его лихой сворой. Странно мне было видеть первый раз, что из шести своих собак Алеев не имел ни одной на своре: все они разместились и лежали вокруг его лошади. У Васьки знаменитый его Чернопегий лежал тоже на свободе, у остальных охотников собаки все до одной были на сворах. Бацов, как не действующий, стал около Алеева; Владимирец отъехал далеко к другим охотникам.

Долго, однако ж, простояли мы после этого, ожидая, что вот-вот начнется гоньба. Я зажег и искурил до половины толстую сигару, но в острове все-таки было тихо, как в могиле, только одни синицы перепархивали вдоль опушки. Стало скучно.

— Что ж это? — спросил я, потеряв терпение.

— А то же, — отвечал граф, — что это заво-

дит стаю Феопен, а не кто-нибудь другой! Вот, слушай и замечай, если у него хоть одна пойдет в добор: этот черт сядет со всеми прямо на матку!... Чу!

С этим словом я дрогнул в седле.

В острове в один миг, как будто упавшая в пропасть, взревела стая. Но что это были за звуки! Это был не взбрых, не лай, не рев-это прорвалась какая-то пучина, полилась одна непрерывная плачущая нота, слитая из двадцати голосов: она выражала что-то близкое к мольбе о пощаде, в ней слышался какой-то предсмертный крик тварей, гаснущих, истаявающих в невыносимых муках. Кто не слышал гоньбы братовской стаи, тот может вообразить только одно: как должна кричать собака, когда из нее медленно тянут жилы или сдирают с живой кожу...

Загудел рог с двумя перебойями; сигнал этот сказал нам: «я стал на гнездо!» — и вслед за тем голос этого колдуна повершил всю стаю:

— Слу-у-ша-ай! Вались к нему! Эх, дети мои!. О-го-го-го!

Сам сатана, вселясь в плоть и кровь человека, не залетит и не крикнет таким голо-

сом! Нет, буква мертва и не певуча для выражения этих, не для нее изготовленных, песен...

«Так-то они **пищат!** Так вот он, тот ловчий!» — думал я и чувствовал, что меня треплет лихорадка.

— Слышал? — спросил меня Атукаев.

— Да... — протянул я, недоумевая, что сказать.

— Взгляни на Луку, — прибавил граф. Я досмотрел на Бацова: стоя сзади Алексея Николаевича, он утирал платком глаза.

— У-а! Влись к нему! У! — раздалось снова в болоте, и стая залилась еще зарче, пошла в разную сторону: несколько голосов повели в нашу сторону.

Прямо на нас выкатил переярок.

— Стой, стой! — тихо приговаривал граф, силясь удержать свору. Увидя зверя, собаки рвались, становились на дыбы... Наконец, выждав волка на себя, граф отдал свору и начал травить; в то же время раздался голое Алеева:

— Назад! Лихач! Победим! Назад!

Но он опоздал: возревшись в волка, пять собак Алеева снесли и накрыли его вместе

с графскими собаками. Алексей Николаевич остался с одним Поражаем. Это обстоятельство породило случай, редкий в охоте.

Вслед за переярком две гончие вывели из острова огромного волка прямо на Алеева; из всех собак один только Поражай возрелся в зверя и, выждав его на себя, храбро понесся к нему навстречу: они схватились, поднялись на дыбы, сцепились зев в зев, расперлись и стали как вкопанные: ни волк, ни собака не трогались с места и не разнимали пасти. Следовало подать скорую помощь Поражаю, но взять ее было неоткуда: остальные собаки Алеева жадно теребили нашего волка и не внимали никаким призывам; Васька накрыл своей сворой прибылого[235] волка и тоже не видел происходившего; кричал и суетился один только Бацов; но ему не удалось промолвить порядком и десяти слов, как Алеев заскакал зверя и пошел к нему сзади, вынимая кинжал. Один миг — и кинжал этот вошел по ручку волку в пах: Поражай переместился в горло, и матерой волк в наших глазах был принят из-под одной собаки.

Управившись с делом, охотники подали

один за другим три сигнала ловчему, что «зверь принят». Минут десять после того борзятники из различных пунктов извещали в рога о том же, и Феопен начал вызывать гончих из острова. На нашей стороне приняли восьмерых, на правой стороне затравили волчицу с тремя молодыми и двух переяркок. Наконец подали позов: «Охотникам на съезд!» Я и Бацов поехали взглянуть на Феопена. Пашка носился по лугу и сбивал тех гончих, которые успели прорваться из острова. Рог ловчего гудел уже близ опушки. Когда мы уже подъехали к тенетам, Феопен только что вылез из труппы и, стоя на лугу, гудел в рог безумолка; подле него собралась уже небольшая кучка собак; остальные одна за другой валились с различных сторон: одни ложились тотчас, свертывались в колечко и, вздрагивая, грели бока на солнушке; другие катались и вытирались о траву.

На Феопена страшно было смотреть: как видно, ему не один раз пришлось окунуться с головой, потому что на этой голове не было ни одного сухого волоса, и сверх того за правым ухом и на виске лежала лепешка болот-

ной тины в виде пластыря; у ног его валялись мокрый картуз и бумажка с раствором табаку, вроде кофейной гущи.

— Ну, Феопен Иванович, — начал я, — мы присланы благодарить тебя от всего общества, а наше спасибо прими особняком.

Но моих слов едва ли дошла и половина до Феопеновых ушей, потому что Бацов, вскоча с лошади принялся обнимать его и приговаривать:

— Феопенушка, голубчик, ты промок, простудишься!... Возьми вот попридень с меня сухую чуйку! — И прочее.

Поддаваясь нехотя этим нежностям, голубчик наш, как видно, был не совсем в голубином расположении духа.

— Нашто?... И так жарко... — проговорил он сухо и снова загудел в рог. — Вот Сорока, Помыкай не подваливаются. Уж такие собаки ладащие!... Что рот-то разинул! Сымай тенета! Аль ночевать тут собрались?

Эти последние слова относились к двум мужикам-тенетчикам, которые, с дубинками в руках, молча глазели на нас с каким-то смущенным видом.

— А что? Разве они тут дали зевка? — спросил Бацов.

— Как же! Двух прозевали. Выкатились из тенет.

— Що ж, Хвепен Иваныч! Нешто мы тут причиною?... Только что греха на душу накла-
дать... как ено было, так ено и есть... тебе го-
ворят: я к ему с тяпинкой[236], только, бы-во,
вот бы... а ион и тае...

— Гу! Зепало распустил! Таго, тае! Сымай
тенета, говорят!... Галманы!

Сорока и Помыкай подвалились; вслед за
ними и Пашка привел солового, с фризовой
хламидой в тороках.

Прежде всего Феопен Иванович взялся за
тавлинку и, после доброй понюшки, глянул
веселее и спросил нас, на кого вышел мате-
рик.

Мы не замедлили рассказать со всеми по-
дробностями, что Алексей Николаевич при-
нял его из-под одного Поражая.

— Собака-то помягче тех... Ну да ладно! —
заключил Феопен и с помощью Пашки при-
нялся выкручивать воду из своей одежды.

На обратном пути предстало нам зрелище,

совершенно новое, неожиданное и вместе с тем неприятно подействовавшее на моего спутника.

— Посмотри, верно, этот вчерашний пузан притащился сюда, и, кажется, со всем выводком! Вот досада! — произнес Бацов, показывая на стоявшую вдали линейку[237], запряженную шестериком, с форейтором[238]. Тут же пестрела коллекция шляпок и зонтиков.

— Верно, так. Что ж! Я очень рад поглазеть на этот выводок... может быть, тут найдутся и хортые[239], и бурдастые, и всякие, — отвечал я, чтоб поддразнить Бацова. — Притом же, знаешь, новые знакомства с прекрасным полом всегда к чему-нибудь да поведут...

— Пустяки! Терпеть не могу этой пеньковой гвардии!... И к чему прилезли? Что с ними делать?

И Бацов начал горячиться, прибирать и причитывать, не зная сам, на что решиться: ехать ли ему вперед или вернуться снова к Феопену и отправиться с ним домой?

Тем временем я успел счесть шляпки и зонтики, окружавшие то место, где лежали затравленные нами волки, и насмотрелся

вдоволь, как пузан, разглагольствуя и пожиная руки у Стерлядкина, Алеева и графа, при каждом поклоне непременно откидывал одну ногу назад.

— Вот, рекомендую, это наши товарищи, — сказал Алеев, когда мы, сдавши лошадей своих охотникам, подошли к обществу.

После обычных приветствий с папашей разговор наш с барышнями начался, как подобало, сожалением с их стороны о том, что они не видали самой травли, а с нашей — уверением, что помянутая «травля» имела бы для нас самих двойной интерес в присутствии таких (Э! Уж была, не была! Видно, пошло на правду...) вовсе не прелестных, а так себе, чуть-чуть сносных свидетельниц.

— Это папа виноват, — прибавила одна из восьми Павловен. — Мы говорили, что надо ехать раньше.

— Ах, матушка, да как же! Как это ты так говоришь? — возразил папа, расставляя руки, голосом, которому, черт ее знает, откуда, подыгрывала сопелка[240].

— Ты говоришь вот: папа!... Нельзя же, матушка, сырой тащить из печки!... Сама зна-

ешь, я тоже встал с семи часов, да как же тут... А вот что, — прибавил он, обратясь уже к нам, — я рассчитывал, что застанем охоту. Ну, время, знаете, тово... извините, я думаю, что и теперь уже есть часов одиннадцать?

— Да, уже четверть двенадцатого, — отвечал Алексей Николаевич, посмотрев на часы.

— Следовательно, надо закусить... По правам охоты... граф, господа, извините, тут лишнего ничего не будет, одно лишь скажу: мы съедим по кусочку пирога... это кушанье по сезону. Вот у меня мастерицы брать грибки... сейчас вот...

Очевидно, что цель всех или некоторых Павловен было любопытство. Может быть, они желали иметь понятие о том, как травят волков, может быть... ну, да на свете все может быть... но очевиднее всего, что целью их папаши был пирог; он, то есть папаша, не удостоил даже взгляда ни людей, ни волков, на которых засматривались все Павловны. Получа согласие наше насчет уничтожения пирога, особа его с необыкновенной легкостью и проворством кинулась на опустошение длинного и емкого ящика линейки; отту-

да, как из рога изобилия, глядели и горлышки бутылок, и баночки с маринованными грибами, и с огурчиками в уксусе, и опять-таки пикули[241] и цыплята с сухарной посыпкой, и множество всего такого, что про всяк час и пригодно и потребно человеку... и наконец, с помощью носителя ливрейного картуза и собственноручной поддержкой, вынута бережно на длинном противне и освобожденная из-под листов сахарной бумаги, девственно, стыдливо, румяно глянула на всех нас кулебяка, или пирог, как хотите назовите, но дело в том, что Павел Павлович сам поставил его на ковер, разостланный на лугу, — и чего тут не поставилось и не положилось вокруг соблазнительного пирога!

— Вот кому бы армию-то угощать! — шепнул мне Атукаев.

— Не худо, если б к этому затеял он и пляску, — прибавил я.

— Только не под гребешок, — заключил граф.

Наконец мы приступили к доброму делу: кто на дрогах, кто на лугу, кто где как попало. Для дам наших подостлали снятые с дрог по-

душки, и пошли пир пировать.

— А где же наш Виссарион Николаевич? — спросил, спохватившись, Алеев.

Словно по щучьему веленью, Владимирец явился среди луга и ехал к нам. После травли он вздумал объехать охотников и по пути завернул к тенетам взглянуть на Феопена. Наконец он очутился среди нас, но... что это было за творение в подсолнечной. Можно было поручиться, что если бы не знакомый костюм и известная всем способность этого человека к превращениям, мы, не долго думая, приняли бы его за новое, незнакомое нам лицо. Человек этот поистине был неузнаваем: глазами он глядел как-то на манер алебастровых статуй; на ресницах явились у него две слезки; рот нижней губой клюнулся к бороде; лоб преобразовался совсем... выражение лица сделалось как-то тупо, бессмысленно: одним словом, перед нами появилось что-то, превращенное в один миг из человека настоящего в существо пошлое, жалкое, униженное до идиотизма.

Мы смотрели, как говорится, разиня рот, и не знали, что подумать об этом новом фоку-

се-покусе: граф смотрел вопросительно на меня, я переглядывался с Стерладкиным, Бацов толкал под локоть Алеева.

— Вот еще один из наших, — начал Алеев, чуть дыша. — Это мой добрый приятель, владимирский помещик...

— Очень рад, очень рад, весьма приятно! — перебил толстяк, схватя за руку Владимира, и откинул ногу по-прежнему.

Тот, не говоря ни слова, выделал ту же штуку ногой. Не было никаких средств удержаться от смеха: я предвидел, что тут не обойдется без дальнейших штук, и искал заранее места для спасения.

— Вы, верно, тоже охотник страстный? — начал пузан.

— Ме-ме-э-ме! — проблеял наш шутник и показал себе на уши.

— Ах, какая жалость! — подхватили две Павловны. — Он глухонемой!

— Пирожка, водочки? Вот, рекомендую, с грибами... — говорил между тем папаша, подавая кусок немому. — Антуанет, потчуй, занимай... а вы, господа, сначала прошу... прекрасная мадера! А потом... — И Павел Павло-

вич принялся наполнять рюмки мадерой.

Между тем Антонина Павловна подложила немому еще кусок пирога; у Александрины Павловны попросил он сам; глядя на сестер, сердобольная Ненила Павловна прибавила от себя четвертый кусок. Так, собравши пол-пирога и разложив перед собой на сахарной бумаге, немой командировал сестер за цыплятами; тем же путем очутились возле него банки с пикулями и огурчиками; следом за ними прибывали рюмка за рюмкой с наливками, мадерой, хересом и прочим. Обзаведясь хозяйством, глухонемой рассадил вокруг себя Павловен и начал их угощать. «Ах, какой он милый, внимательный, забавный!» — раздавалось со всех сторон. Заслужа такое расположение и доверие во время завтрака, герой наш, угостивши всех досыта, принялся за ворожбу и разгадывание судеб. Для произведения этого фокуса он пользовался безвозбранно ручками и ладонями всех Павловен, но когда он, обратясь к нам, показал на ливрейный картуз и, сделав примерный нарез на ладони, начал вытряхивать и раздувать пух по ветру, для нас, понимавших, о чем идет речь, наста-

да совершенная пытка... Кстати Павел Павлович, вообразив, что Владимирец воздает этим должную похвалу тесту в его пироге, не обращая на нас внимания, начал сам вздывать пух и потряхивал головой в знак совершенного согласия.

— Это правда, — прибавил он, — насчет теста могу похвалиться: торт настоящий!

Мы отвечали на это, что глухонемой был вправе заметить это раньше нас, потому что он знает поварское дело превосходно.

— А что, батюшка, — обратился ко мне папаша, — скажите мне, что он, с роду такой, или...

— Да, — подхватил я, — он глухонемой от рождения; но, несмотря на этот недостаток, он человек с большими талантами; сверх того у него удивительный фокус в глазах.

— Какой же это фокус?

— Да тот, что ему все предметы кажутся вверх ногами.

— Что ж это? Как же это так?

— Очень просто. Вот, например: это дерево, для нас оно вот какое, а для него оно стоит корнем вверх...

— А?... Так... Антониночка, оправься! Нина, сиди хорошенько! Сашок, не вертись!...

И Павел Павлович тотчас приказал убирать посуду и подавать лошадей.

В это время мимо нас лугом Феопен провел стаю домой, и мы его встретили рукоплесканиями и проводили общим единодушным «браво!»

Тут последовало прощанье с нашим радужным гостем и его веселенькими спутниками; кажется, что они не вправе будут на нас жаловаться, потому что при конце свидания все, чем можно было доказать нашу предупредительность и внимание к ним, с нашей стороны было выполнено в точности; сверх того, когда экипаж тронулся, мы все очутились на лошадях и с конвоем, состоящим человек из десяти тех охотников, у которых не было в тороках зверя, проводили линейку версты за две до поворота.

Возвратясь на квартиру, мы начали пировать по-своему: четырнадцать волков были выторочены и лежали рядом напоказ зевакам, которых набралось видимо-невидимо; тут же, пользуясь красным днем, охотники

выставили столы на площадку и уселись за сытный обед с преизобильной порцией вина и пива; после обеда составился хор: пляска и песни продлились до полуночи.

На другой день мы выступили в Бокино.

VI

Бокино. — Новое знакомство. — Неудачное поле. — Полштоф в опасности. — Садка. — Травля встречных. — Отъезд.

В два часа за полдень увидели мы Бокино. Посворно, как и вчера, охотники равнялись полями, но зайцев находили мало, что доказывало близость и обилие красного зверя. От Бокина до Чурюкова всего-то двадцать верст дорогою, а напрямик, полями, и того ближе. Острова почти смежны, следовательно, волки, рыская постоянно вокруг своих гнезд, **выживают** русака.

Оставя в левой руке большую дорогу, мы по отлогому скату поля подъезжали к месту: налево, на самой крути бугра, стоял большой барский дом с колоннами и красивым пали-

садом; направо от него тянулось по бутру село с церковью; низина вся была заткана сплошным камышом и чепыжником, между которыми местами поблескивала довольно широкая река. По краям болота, в полуверсте друг от друга, стояли крестьянские пчельники. В этом-то болоте, которое протянулось на несколько десятков верст и огибало несколько сел и деревень, расселенных по обеим его сторонам, исстари, заведомо, «зазнать», плодится во многих местах зверь выводками. Обапольные мужики знают своего зверя и не **строгивают** гнезд, потому что и волки вблизи своих сел не **щелят** скотины.

Борзятники стянулись на луг и поехали на квартиру; мы спустились ко второму пчельнику, вблизи которого, по словам Феопена, было гнездо.

У камышовой изгородки пчельника невзрачный, осторковатый мужичонка с редкою русою бородкой клином, стоя на одном колене, тесал что-то на обрубке колоды. Мы подъехали к нему и начали спрашивать о волках.

— Как же, есть, милостивцы, есть звери...

Это мои собачки, батюшка, — прибавил он как-то умиленно, голосом мягким и вкрадчивым, каким обыкновенно владеют проходимцы и святоши. — А вы, сударики, охотнички?

— Да, мы охотники.

— То-то, вот, даве от господ был приказ; оповещали береговых по пчельникам, чтоб осторожней с зверем быть, и охотников не допускать, а докладывать их милости, на случай какие наедут.

Мы значительно переглянулись.

— Разве господа твои здесь? Ведь барин ваш умер. Кто же тут теперь? — спросил Алев.

— А молодые-то, детки, батюшка! Вот по лету наехали к нам, из полку прибыли. Теперь вот старшой-то, Иван Петрович, вместо батюшки-покойника вотчиной править взялся, а меньшой, Петр Петрович, охоч больно до лошадок, так за заводом приглядывает.

Я видел, что это известие произвело на моих спутников впечатление нерадостное.

— Что ж твои господа, сами, что ли, хотят охотиться? — спросил граф.

— А господь ведает, сударики! Сами, что

ли... Приказ есть, чтоб охотников не допускать, а там что у них на уме — неизвестно. Вот было недели две назад, приезжал сюда Жигунов с охотою, господ с ним таково много, досылали тож и к нашим, да нет, должно быть, запрет не снят. Так и отъехали. А то еще по лету был тутотка человека издалеча, две ночи ночевал у меня на пчельнике. Уж и мудрен же этот человек! И по имени как-то не так, чтоб знакомите было.

— Не Феопеном ли звать?

— Так-то, так, милостивец, он самый!... Уж этот насчет звериных делов такой дотошник, что и не привидано!

— А что?

— Да так-то, батюшка! Я диву дался, глядя на него. Как передневал он тутотка да общарил, почитай, всю округу, и говорит мне: «У тебя, — говорит, — дядя, в гнезде зверя мало». — «Как мало? — говорю. — Да тут их видимо-невидимо!» — «Нет, — говорит, — всего-то, с стариками, голов десяток, больше не будет: вот считай сам!» — говорит... и пошел он, милостивец ты мой, за энто плесо и ну гудеть по-звериному, на разные голоса, а они,

зверье-то, сударь ты мой, и вышли все вот к пчельнику, прямо ко мне, вот сюда, игрище затеяли... И заподлинно всего-то на все девяттеро с молодыми, опосля того видывал сколько раз — больше того нету...

— Ну, а теперь выводок тут? — спросил Батов.

— Как же! Тутотка! Да они, наши-то, спокойны, пообрусели и к народу приобыкли. Вот старик всем стал знакомит: выйдет иной серед дня и ляжет где на меже — поглядывает, как мужички пашут. Года с два назад завелся было у нас на селе мужичок-охотник, не то, чтоб заправский какой, а так. Добыл он где-то капкан и ну ставить! Вот он, волчок-то, и попади в капкан передней лапой, да неловко задело, отгрызся... а ногу повредил, вестимо: пальцы отшибло. Так и теперь бродит, с кулдышкой...

Мы больше не стали слушать словоохотливого пчелинца и отправились на квартиру.

— Однако ж скверно, если эти господа Петровичи заартачатся и не пустят нас в остров! — сказал граф.

— Это ничего не значит, — отвечал Але-

ев. — Дурного в этом я вижу лишь то, что мы должны будем откочевать отсюда верст на десять вверх и лишимся на время удобной стоянки, зато будем иметь больше зверя.

Бокино — торговое село, стоящее при одном из тех бойких трактов, которые в зимнюю пору являют собою что-то вроде чистилица для господ проезжающих; тут такие ночлеги и ухабы, для которых надо иметь в запасе и чугунную голову, стальные бока. Часть села, примыкающая к большой дороге, состоит из постоянных дворов различной формы и величины. Два из них, лучшие на вид, были заняты нами. Помещение, определенное для нас, состояло из двух очень просторных и очень грязных покоев, где каждая, половая доска исполняла роль фортепианного клавиша. Натешившись вдоволь над этою клавиатурой, мы уселись за трапезу, и Алеев велел кликнуть Афанасия.

— Ступай, — сказал он вошедшему, — на барский двор, узнай, к кому из господ следует тебе явиться для переговоров? Кланяйся и проси позволения метать завтра гончих. Ну, ты уж знаешь, как там поступить.

— Слушаю-с!

— Надо сказать, — прибавил Алеев по уходе посланного, — я как-то невольню узаконил за Афанасием право подобных переговоров; его красноречие при убеждениях до того фигурно и непонятно, что всякий с ним соглашается поневоле.

Неизвестно, как вел себя Афанасий на деле, но лишь мы встали из-за стола, как он явился с известием, что сам барин Иван Петрович изъявил желание познакомиться с нами и прибудет для того вскоре.

И точно, через полчаса времени, у окон нашей квартиры появился статный бегун[242] в пролетке, и вслед за тем вошел к нам плотный, высокого роста мужчина, в теплом сюртуке с бобром: это был еще очень молодой человек, с лицом, цветущим здоровьем и отмеченным добрым, спокойным выражением; лучше же всего в нем было то, что ни в словах, ни в приемах его не было и тени этого фразерства и вычурности, которыми редкий из нас не пробавляется в минуту первого знакомства.

В короткий срок познакомясь со всеми,

Иван Петрович объяснил Алееву, что, наслышавшись о достоинстве его охоты и зная, что ловчий его по лету подыскивал здесь зверя, они с братом всеми мерами старались сбегать выводки для нас и не допускали других охотников. Вслед за тем он пригласил нас переселиться в дом на все время нашего здесь пребывания. Нельзя было и думать об отказе с нашей стороны, потому что приглашение это было выражено с таким радушием, ласкою и готовностью доставить нам удобное, что мы, не возражая ни одним словом, тотчас же собрались и отправились всем обществом к дому. Навстречу к нам вышел меньшей брат Ивана Петровича, Петр Петрович. Этот был моложе его несколькими годами, ниже ростом, тонок и строен; судя по щеголеватости одежды и некоторой изысканности в приемах, он, как казалось, был не прочь от разыгрывания светского и тонного[243] молодого человека, но видя нашу совершенную простоту и бесцеремонное обхождение, тотчас изменил себя и с свойственной ему живостью и энергией доискивался и предупреждал желание каждого из нас и не уступал в радушии

своему брату. Так составилось это неожиданное нами знакомство; оно было причиною того, что вместо одних суток мы пробыли в Бокине пять и долго и часто после этого вспоминали о встрече с добрыми и приятными людьми.

К девяти часам люди принесли необходимые для нас вещи, и мы разместились очень удобно, где кому пришло по нраву; дом состоял из множества больших комнат, отделанных со вкусом и удобно расположенных. В гостиной и соседней с нею комнате висело много замечательных картин; между ними были Рюисдаль[244] и Боппа[245], а также копии и оригиналы известных русских художников. Отец наших радушных хозяев был страстный любитель живописи, а небольшая галерейка, им собранная, доказывала, что он вместе с тем был и знаток этого дела. Чай пить мы сошлись в просторном кабинете Ивана Петровича. С этого времени неистощимый наш Владимирец вступил в свою колею: открытие сезона началось у него повествованием о том, как русский мужик продавал немцу козу; далее пошла в ход история о вчерашнем пузانه,

репетиция раздувания пуха из ливрейного картуза и прочее. Репертуар нашего краснобая был обилен, блестящ и разнообразен: после какого-нибудь анекдота тотчас шло у него представление в лицах какого-нибудь из общезнакомых или присутствующих: малейший оттенок характера в каждом из нас был уловлен и передаваем с изумительным искусством. Дошел наконец черед и до Ивана Петровича, как тот приглашал нас к себе, и как Петр Петрович встретил и приветствовал общество посреди двора. Оба брата катались по дивану, хохоча страшно и прихватывая бока ладонями. В два часа за полночь, с коликой в боках, улеглись мы наконец в постели.

На другой день мы всем обществом выехали в поле. Своры стояли уже по местам; графский ловчий держал сомкнутую стаю вблизи пчельника. Новые знакомцы наши внимательно осматривали все и нетерпеливо ждали начала общей потехи, но тенетчики замедляли дело: едва достало крыльев, чтоб забрать расстояние саженой в шестьсот длиннику; наконец, после долгого ожидания, ловчий со стаей тронулся в остров, и — увы! —

все наши хлопоты и грозные приготовления послужили ни к чему: волки подбуженные с утра неосторожным говором тенетчиков снялись с логова и бродили по острову, предчувствуя грозу; ловчий не успел пройти и десяти саженьей, как собаки, почуяв свежие следы, пошли в добор, и вся стая помкнула вразнобой. При первой помычке волки ватагой прошли в реку и скрылись мимо тенет.

Нам тотчас подали сигнал с нагорной стороны, что «зверь прорвался», и крайние охотники той и другой половины проворно тронулись с мест и пустились на полных рысях вдоль острова: Иван Петрович, Бацов и я поскакали к тенетам узнать, что и как происходило в самом острове. Спешившись, мы подошли топкою луговиной к левому крылу тенет и были зрителями следующего казуса.

Петрунчик (к слову сказать), получивший с помощью бдительного над ним надзора «надлежащий человеческий вид», — этот хитрый и замысловатый Петрунчик, во избежание докучного над собой досмотра, вздумал отправиться к тенетам в качестве охотника, на самом же деле значилось, что этот вели-

чайший трус и вовсе не охотник залез в болото с целью праздновать там первые минуты свободы, для чего, обеспечив себя полуштофом[246] пенника[247], расположился, для большей безопасности, у крайнего крыла тенет, но едва удалось ему пропустить глоток, как стая помкнула, и молодой волк, отбившись от гнезда, побежал второпях краем болота прямо на владельца полуштофа. Взглянув на волка, Петрунчик, с милой своей посудиною, шмыгнул от тенет и прилип березе; волк между тем с разлета ударил в тенета, сорвал два крыла с кольев, закрутился в них и, делая отчаянные прыжки, поволок тенета к той же березе, зацепил концом за корень и, описавши тура четыре вокруг дерева, туго прикрутил к нему Петрунчика, а сам, окутанный тройными складками тенет, растянулся у ног его и щелкал зубами. Прижимая полуштоф к груди, Петрунчик кричал неистово и зывал к нам о спасении. Нас одолевал смех.

— Пустяки, брат, ты вот его посудиною по голове, он и уймется! — приговаривал Бацов.

— Голубчик, Бацочка! А-ай!... Конец мой пришел! — кричал тот.

Волк от этого крика ворочался пуще и грыз тенета.

— Пустяки, брат, ты вот лучше перед последним концом выпей, а он вот тобою закусит, — прибавил Лука Лукич.

Наконец, наскучив этим криком, Бацов подал в рог «на драку», и два охотника мигом явились на позов, сострунили волка и распутали Петрунчика. По общему решению, полуштоф поступил во владение избавителей.

Очутившись на свободе, Петрунчик усердно просил нас не сказывать графу об этом соблазнительном происшествии, но шила в мешке, как известно, не утаишь; охотники не замедлили передать этот случай к общему сведению, и таким путем весть о нем достигла до ушей грозного Артамона Никитича и так далее.

Вслед за тем велено было снимать тенета, и мы поехали домой, нисколько не досадуя на эту первую неудачу. Атукаев вздумал было обвинять своего ловчего в оплошности, но мы всеми силами старались доказать ему невозможность успеха в этом заранее испорченном деле.

За обедом Алеев советовал Бацову испытать Карая на волке и в подмогу ему, как новичку, предложил выбрать любую из собак своей своры.

Все в один голос подбивали Бацова взять Чернопегого, и после обеда, в награду за неудачное утреннее поле, мы полюбовались на садку[248]. Волка вынесли на луговину перед палисадником. Карай, у которого нога почти зажила, был на своре у Бацова. Васька с Чернопегим стоял в стороне, за народом. Когда расструнили и пустили волка, Карай с маху подлетел, поволок его за **гачи**[249] и опрокинул его на спину, но дальше, как молодая собака, не давая ему хода, начал, по выражению охотников, «**оплисывать** зверя». Волк щетинился, оцелкивался, забирал силу и норовил наутек, тогда Васька, по знаку Алексея Николаевича, выехал на чистоту и показал его своей собаке. Чернопегий ринулся, и в одно мгновение волк лежал кверху ногами; Карай с этой помощью впился в зверя, как пьявка, без отрыва; это значило, что из Карая можно было ожидать собаку **мертвую**, потому что борзые, принимающие зверя в **отхват**, в

настоящей охоте признаются за негодных. Мы поздравили Луку Лукича с открытием нового достоинства в его любимце и отправились в дом, где, как и вчера, заключили наш охотничий день живою дружескою беседой и общим смехом.

Во все время пребывания нашего в Бокине мы взяли два выводка волков и травили их блистательно. Говорить подробно об этой потехе я не намерен, а лучше расскажу моим читателям-охотникам о верном способе травить волков **встречных**. Это был наш последний подвиг в Бокине, виденный мною первый раз и едва ли знакомый кому-нибудь из псовых охотников. Дело шло вот как.

Волки, распуганные нами в первое утреннее поле, по естественному закону, должны были возвратиться на старое логовище. Дав им сутки-двое обжиться у гнезда, мы старались узнать наверное, в которую сторону гнездовики выходят на добычу. Уследить за этим и высмотреть вход и выход зверя была забота наших неугомимых ловчих. Все было исполнено ими с тем похвальным усердием, которого можно ожидать лишь от истинных

охотников. На пятый, то есть в последний день нашей стоянки в Бокине, часа за два до рассвета люди разбудили нас, и в доме началась суeta страшная. Мы выпили по стакану чаю, оделись, не мешкая, раскурили сигары и вышли в переднюю; там встретил нас Феопен, а у крыльца ожидали оседланные лошади и гремели ошейниками сворные собаки. Борзятники обеих охот собрались на лужку, где была садка, и ожидали нашего выхода. В таком составе, предшествоваемые Феопеном Ивановичем, мы очутились на лугу против второго пчельника. Отсюда приказано охотникам разделиться на две половины, разъезжаться на дистанцию и стать полудугой, в полбугра, лицом к полю.

Мы все отъехали на версту вперед и укрылись в кусте[250]; остался один Бацов и занял место с Васькой близ пчельника. Петр Петрович вызвался быть у нас «сторожевым»; для этого он подвинулся более нежели на версту вперед, и, когда рассвело совершенно, мы увидели его стоящим на гороховом омете[251]. Недолго мы смотрели на этот длинный гребень омета, на котором недвижимо торчал

силуэт черного всадника. Вскоре сторожевой наш с гиком помчался прямо на нас. Перед ним, словно черные клубки, катились по полю семеро волков. Вот ближе и ближе, и мы уже начали различать их по возрастам. Матка тянула впереди, за нею мчались семеро волчат, далеко отставая друг от друга; сзади, злобно оглядываясь назад, прыгал старый волчина. Выждав на дистанцию, Алексей Николаевич указал своей своре матку; графские собаки сметались и, взревшись, сели на молодого волчка. Оставя все, Петр Петрович, как видно было, занялся одним стариком; он висел на нем, не жалея лошади, и старался поставить его прямо на куст, но хитрый зверь, видя травлю впереди и такую неотвязную погоню сзади, наддал скачки, покосил и начал забирать влево, но мы успели заскакать наперерез и вместе с Петром Петровичем подали его прямо на Васькину свору. В награду за эту услугу мы были ближайшими зрителями поистине удивительного приема Чернопегого и тут же признали, что это, по удали, первая собака во всей алеевской охоте. Бацов, глядя, как его Карай тормозил уже заколонного

волка, чуть не плясал от радости. Это был тот самый волк с отшибленными пальцами, о котором мы слышали от пчелинца.

Так закончили мы нашу пятидневную потеху в Бокине. После обеда люди, обоз и экипажи выступили на походном положении в дальнейший путь, мы же не могли не остаться еще на одну ночь под гостеприимным кровом наших радушных хозяев. Правду сказать, нам и самим не хотелось расставаться с ними, а они с горем пополам высказывали невозможность нам сопутствовать.

На другой день, после обильного завтрака, мы простились с искренним сожалением и поспешно вышли и разместились в двух тарантасах, приготовленных для нас с вечера, но кучер, бывший впереди, вместо того, чтоб тронуть с места, полез с козел и начал что-то оправлять у коренной: вскоре оказалось, что это была «штука», придуманная братьями. Иван Петрович, в сером казакине, подпоясанный кушаком и в картузе набекрень, появился на крыльце. Не говоря нам ни слова, он полез на козлы. Следом за ним вышел Петр Петрович с налитыми стаканами шампанского.

— Что это вы делаете? — спросили мы в один голос.

— А ночуем еще ночку вместе, — отвечал добряк, разбирая вожжи и навертывая кнут на руку.

— Вместе, вместе! — крикнули мы разом, приняли чуть ли не по десятому уже стакану в руки, чокнулись и грянули «ура!». Петр Петрович накинул пальто на плечи, вскочил к нам в тарантас, уселся как попало, и мы помчались.

Братья проводили нас с лишком за сорок верст. Ночевали мы вместе в крестьянской избе и наутро простились, тоже со «штукой», но не без грусти.

Медленным и скучным переходом достигли мы наконец до «Колягиной вершины», то есть до главного пункта, к которому стремились. Тут только началось наше «отъезжее поле», а с ним и ряд тех замечательных случаев и сцен, для которых все сказанное может служить вступлением или приготовлением к настоящему охотничьему делу.

Мы на пути. — Игра в зевки. — Сныть, то есть страна, текущая млеко и медом. — Степь графини Отакойто. — Грозная весть. — Столб и надпись. — Миловидный дистаночный и зверообразный объездчик. — Феопен как дипломат, или вор у вора дубинку украл. — Представительная личность. — Лестное предложение. — Кое-что о русских глаголах.

Мы на пути, то есть мы заняты несколько суток сряду скучным делом передвижения с места на место. Встречный люд глядит, разиня рот, на наш длинный поезд, составленный из каких-то необыкновенных фур, брык, вагонов и прочего, из которых выглядывают и собачьи морды, и полусонные человеческие физиономии в косматых шапках, или помятых и сбитых набок картузах. Первый день мы провели не скучно, среди общего говора, оживленного шутками и смехом; солнце приветливо глядело на нас сверху, и

легкий ветерок чуть относил струи табачного дыма от экипажей. На другой день затеялась **чичерь** и провожала нас вплоть до места. А знаете ли вы, что такое чичерь? Это все, что хотите, то есть и сухая, едкая крупа, и крупный дождь с мелким снегом, и крупный снег с дождем пополам, и опять крупа — стучит и прыгает, и опять очередная... Так и думалось, что настанет зима, подмерзнет, подтрусит снежку, и начнутся пороши. Однако ж не подмерзло, не запорошило; наутро переменился ветер, перемежающаяся чичерь обратилась в скучную, однообразную слякоть... настала тишина, обуяла лень, дремота, все утихло, все насупилось, молча, без мысли и желания, глядишь, как мелкий дождик сечет по кожаному фартуку, слушаешь, как чавкают лошадиные копыта, а там уставятся глаза на обод колеса и тупо глядят, как клубится и плывет по нем мутная вода, потом перейдут они на лицо соседа, а тот все-таки держит между пальцами окурок сигары, а сам опустил веки и клюет носом по сторонам; улыбнешься, зевнешь раз-другой, глаза закроются, и сам начнешь клевать носом, а сосед проснулся, смотрит на

тебя, улыбается... И так от станции до станции, с утра до ночи, одни лишь усталые кони, кажется, живут полной жизнью: они хлопочут из всех сил дотащить нас в степь...

Сколько написано стихов, сколько пропето песен про эту степь! Так и думается, что это та обетованная страна, где и светло, и тепло, и просторно человеку; так и чудятся эти бесконечные пампы[252] Буэнос-Айреса[253], эта ширь да гладь нашего Херсона[254], где «куда едешь — там будешь», где «поехал в степь — ночуй в степи, встал в степи — ложись на степь!...» Ковыль, да перекати-поле, да глубокое синее небо с журавлиными резкими окриками, несущимися невесть откуда... Не такова степь затамбовская! Вот мы едем в степь: направо ветла, налево ветла, опять ветла за ветлой, а за ними все-таки ветлы да ветлы... Пришлось так или наскучило: свернули направо, — налево дорожка словно ленточка; тут черная грядда, глубокая пахоть, тут полосами озими, опять грядки взбуравленной земли да порыжевшая степца с болотными круговинами да с вымочками... Бледно, желто, бугристо, и грязь, и груда... скирды с сеном, стога с

хлебом, какие-то подоби́я человеческих жилищ под грубой настилкой соломы, полу-сгнившей от течи, полуистлевшей от копоти, да кой-где ку́ща горького осинника, утыканного сплошь вороньими гнездами... А вот усталые кони начали пофыркивать и поднимают уши чаще прежнего: впереди хуторок, непременно Свинушка или вроде того... Вот и опять хутора!

— Эй! Как зовутся ваши хуторы?

— Большие Свинушки!

— Малые Свинушки!

Вот вам и Сныть! Большая Сныть, Малая Сныть! Стой! Добрались до места. Тут нам ночевать! О, кого наделила судьба хоть один раз в жизни ночлегом в этой Сныти, тот, наверное, удержит его в памяти наравне с пожаром, наводнением, неприятельским нашествием и им подобными злополучиями.

— Эй, мужичок, поди сюда! Как называется ваш поселок?

— Сныть. Мала-Сныть.

— Ну, ладно! Что, остановиться тут можно?

— Как остановиться?

— Ну, известно как... На ночевку. Ночевать.

— А, ночевать... Можно... У нас, у суседа можно; иде хошь.

— Овес есть?

— Как не быть! Овса вволю.

— Почем за четверть?

— Как почем?

— Ну, известно, как цена? Почем продаете?

— На продажу нетути.

— Как нетути? Ведь ты говоришь — овса вволю! Ведь вы овес продаете?

— Продаем. К пристаням ставим, на базар вывозим.

— Ну, как цена базарная? Почем?

— Кто ш ее... Ономясь гривен семь продавали. Бают, стал дешевле... год овсяный.

— Ну, мы тебе дадим восемь гривен да четверть; давай овса.

И опять: «нетути!»

Семь, восемь гривен ассигнациями за четверть овса, и овса «нетути», а у хозяина четырнадцать кладушек «сулетошних» на гумне — точат мыши, а на продажу все-таки «нетути». Неуправка, своих лошадей кормят

снопами, а помолотиться не хватает времени:

— Возка одолела: хлеб до зимы не убрать с поля!

— Эй, хозяйка! Смети-ка со стола! Что это за крошево навалено? — взывает наш Артамон Никитич, войдя в тесную, смрадную лачугу, от пола до потолка набитую ребятами и поросятами. Тут, по его соображению, можно было поместить поваров, потому что осмотренные уже им две лачуги были еще гаже и неопрятнее.

— Зараз, кормилец! То хлебушка. Ребята не поглодали, — приговаривает одна из заготовительных баб, сгребая локтем в решето крошево, или, лучше сказать, ломти и крошки черного, как уголь, и черствого, как камень, хлеба.

У хозяина десять кладушек непчатых ржи на гумне, а он сам и его робяты с утра до ночи, лето и зиму, в праздники и будни глодают это подобие хлеба, недоквашенного, недомешанного, в котором запекаются две части всякой дряни и только третья часть чистой муки. Что это? Скудость, нищета, экономия, что ли? В краю, где каждая десятина дает

сорок четвертей хлеба превосходного качества?

— Да грязь-то соскобли с лавок! — добавляет Артамон Никитич, толкая ногой свинью, расвирепевшую за свое крикливое детище, которому я имел неосторожность отдавить ноги, ступивши на пук соломы, где оно копошилось.

Вскоре появились наши люди и, выгнав баб с ребятами и свинью с поросятами в другую избу, принялись выгребать и выворачивать скребками и лопатами гнилую постилку и всякий сор из избы, чтоб иметь возможность приготовить ужин для охотников. Я пошел смотреть, как кучера и борзятники таскали под мышками немолоченый овес. Сам хозяин усердно помогал разорять сулетошнюю кладушку и сам таскал снопы и подкладывал их под морды лошадям. К величайшему нашему удовольствию, слякоть прекратилась, ветер гнал облака в разные стороны, изредка просвечивало красноватое осеннее солнце, готовое спрятаться за длинным ометом гречневой соломы, лежавшим на краю выгона: все предвещало холодную утреннюю зарю и

если не ведряный и теплый, то, по крайней мере, сухой день. Заботливые наши ловчие увели обе стаи залежавшихся гончих в проводку. Освобождаясь из тесной и душной закуты, собаки радостно взвизгивали, выпрямляли ноги, катались на спине и, как будто поздравляя с простором и свободой, вылизывали одна у другой морды. Всего опаснее в этом случае борзые: те, после обыкновенной растяжки и выправки, пускались делать вольты и удивительные прыжки. Тут без внимательного надзора и постоянных окриков может случиться то, что пять-шесть элобачей заложатся по игрунье, заловят ее и прежде, нежели псаря успеют подбежать на выручку, плясуна, или плясунью изорвут в клочки.

В надежде на благоприятную перемену погоды мы расположились на выгоне бивуаком, сдвинули экипажи, как указывала потребность и подувавший еще легкий ветерок, устроили логовище для стайных и сворных собак. Из единственного деревянного топлива, с трудом добытого в Сныти, то есть из старого плетня, развели два пепелища для заварки котлов и добывания углей на самовары.

Одним словом, в короткое время перед Снытью образовалось что то вроде конной ярмарки: близ двух котлов, в которых псары кипятили воду для овсянки, а повара белковали двух жирных баранов на ужин людям, собралась порядочная куча зевак, и те из охотников, которые были непрочь поточить ляды и поострить насчет ближнего, затеяли тотчас разговор с мирными обитателями Сныти.

— А что, почтенный, в баню, чай, по субботам ходишь? — обратился остряк Никита к сиволапому долговязому парню, который стоял, растопыря руки и выпуча глаза. Дитина этот был до того грязен, что на него страшно было смотреть. Волосы на голове у него были сухи, бесцветны и торчали как иглы.

— Кака там баня? — произнес парень, запуская пятерню к себе в чуб и глядя в пустоту.

— Известно, какие бани бывают...

— И, касатик, мы к эфтому не привычны, бань нетути к в заведении у нас, — вступился невзрачный клинобородый мужичонка, такой же грязный и нечесаный, как и первый.

— Что ж вы, косарем, что ли, скоблитесь?

— А вот, родимый, под праздник Миколы

Зимнего бражку заварим, в печку слазим — то и баня у нас!

— От Николы до Николы, а там — николи! Ладно! — заключил Никита.

— Оттого и дамы у них все таки брунеточки! — добавил графский борзятник, довольный своей изысканной речью.

Я не стал больше слушать и пошел к экипажам; там с помощью ковров, попон и прочего сумели устроить что-то вроде шатров и балаганов с обильным количеством сена и соломы, долженствовавших заменить для нас и для охотников пуховики и матрацы. Тут же на двух появившихся откуда-то столах Артамон Никитич распорядился приготовлением чая. Чем ближе были мы к цели, тем сильнее томило всех желание скорее кончить наше скучное путешествие. Все с тоскливым видом поглядывали другу в глаза, и взгляды эти как нельзя яснее выражали мысль каждого. Все эти Воробьевки, Свинушки, Сныти и прочее, со всею их грязью и копотью, блохами и тараканами, были до того однообразны и с виду похожи одна на другую, что нам, после двух-трех ночлегов, начало уже казаться, будто мы

закружились в каком-то водовороте и вертимся на одном и том же месте. Алексей Николаевич, которого мы наименовали шкипером, один соображал, рассчитывал и распорядился нашим передвижением и, как опытный моряк, знавший все рифы и отмели, уверял нас, что избранный им ночлег есть лучший и удобнейший, и слегка подтрунивал над нашим нетерпением.

И вот, выждав минуту, когда мы, разместившись как попало, начали молча прихлебывать из стаканов, он улыбнулся, глядя на наше уныние, и объявил, что завтра нам останется только один короткий переход до места. Все оживились и заговорили враз.

— Да, отсюда до графской степи всего семнадцать верст, а там верст семь степью до станции, — заключил Алеев.

Начались общие поздравления. Второй стакан чаю казался для нас вкуснее. Граф приказал налить Петрунчику пунш. Тот приосанился и выкинул штучку; Бацов подал Караю полкренделя; Владимирец отпустил малую толику из пантомимы глухонемого... — одним словом, от этого ничтожного известия

у всех просияли лица. Тотчас был призван один из обозничих, и ему приказано с частью легких передовых подвод и поварскою фуруою выступить на рассвете и идти до места на рысях для занятия квартир.

Ни с одной станции не собирались мы так торопливо и весело в путь, как это было после ночлега в Сныти. Едва рассвело, и передовые тронулись, как и остальное кочевье поднялось на ноги; начали поить и впрягать лошадей, кормить собак, укладываться, усаживаться... и вот, при ярком сиянии солнца на совершенно чистом небе, среди невыразимей тишины свежего осеннего утра, мы тихо потянулись по ровной проселочной дороге. Вследствие ли перемены погоды, или потому, что на душу веяло ожиданием чего-то лучшего, мне казалось, что самая местность резко изменилась в своих очертаниях, и что мы очутились в другом краю. Кругом нас была эта тишь, простор, безлюдье; кроме нашего обоза, ползшего шаг за шагом по ровной плоскости, мы не встретили ни одного существа, способного нарушить безмолвие окружавшей нас пустыни; одни лишь белогрудые дрофы,

ходя стадами по полю, сторожко нас оглядывали. Кой-где торчали не свезенные еще копыны, да разбросанные по горизонту хуторки, словно приплюснутые к земле соломенные жгутики, разнообразили ту картину, которой нельзя было дать другого названия, как **земля да небо**. Все с напряженным вниманием смотрели в даль, как будто каждый из нас старался увидеть прежде других что-нибудь знакомое впереди, но долго и долго перед нами длилась одна лишь эта недостижимая черта дальнего горизонта, которая убегала все дальше и дальше, становилась тонее и нежнее по мере возвышения солнца на синем безоблачном небе.

Наконец, подобно мореходцам, потерпевшим крушение, мы могли воскликнуть: «Берег, берег!» Мы узрели эту заветную грань, за которою, по всем вероятностям, ожидало нас много сильных и дорогих охотнику ощущений. Алексей Николаевич, первый показывая на тонкую, едва заметную впереди черту, сказал: «Вот Графская!» — и все начали напряженно смотреть вдаль. Для меня, мало постигавшего значение этой короткой фразы, от-

крылось впереди не что иное, как просторная равнина степи, законченная темною полосою леса, обнимавшего полнебосклона впереди. Мы подвинулись еще версты на три вперед, и лес этот, казавшийся вначале отдельною кучею, начал принимать обширные размеры, темнел и ширился.

— Ого, мы, кажись, едем в степь, а впереди нас засинела целая Вологодская губерния; тут, как видно, растут леса, и не маленькие! — сказал я, обратясь к Алееву.

Тот улыбнулся и вместо возражения встретил меня вопросом:

— Вы принимаете эту черную полосу за грядку леса?

— Конечно! Иначе быть не может. И, вдобавок, лес не шуточный: тут будет где разойтись вашим пискунам.

— Это начались **соры**. Вы их увидите здесь много. Вот вскоре покажутся Синие кусты: то лес настоящий... — И, глядя на мою вопрошающую физиономию, Алексей Николаевич продолжал: — Вот эта, широкая возвышенная полоса, по которой нетрудно разъехаться в двух каретах, не что иное как грань или

окружная межа графской степи. Она опоясывает сто двадцать тысяч десятин земли, от сотворения мира не паханной. По ней бродят стадами журавли, дрофы, стрепета и обитают миллионы сурков. Это собственность графини Отакойто. Купцы-гуртоправы снимают часть этой степи участками для выкормки бойного скота с правом распахать третью часть участка. Таким образом, поднявши часть степи плугом, они засевают на ней бакчи, потом просо, мак, пшеницу и, снявши несколько хлебов, бросают вспаханную землю и поднимают **новь**. Тучный чернозем, оставленный без обработки, покрывается сорными травами: полынным, чернобыльником, девясилом, репейником и другими; некоторые стебли тянутся в вышину аршина на два и выше и образуют собою сорную заросль вышиною в рост человеческого. Вот от чего издали эти соры кажутся сплошной лесной кущей и так разнообразят вид степи. Тут появляется множество мышей, которым в грунте разрыхленном легко устраивать для себя норки, и это служит приманкой для лисиц. Они постоянно мышкуют в сорах, а живут и выплажи-

вают по соседству с ними, в сурчинах. А вот и Синие кусты показались! Отсюда остается нам проехать верст пять до Козихи, а там Дроновы хутора, — заключил мой опытный истолкователь.

Мы подвинулись еще версты на три вперед; Синие кусты показались в полном объеме и начали уходить от нас налево; стоя посреди графской степи, они являли из себя что-то вроде оазиса среди плоскости, усеянной небольшими курганчиками, на которых, подобно коротким тумбочкам сидели сурки. Мы ехали рубежом; направо от нас были земли, так называемые **владельческие**, налево бесконечно тянулась графская степь, там-сям появлялись отдельными полосками соры, ближайший к нам был не что иное, как редкий бурьян, а дальние, сливаясь в одну грядку, обманывали глаз и казались сплошным и густым лесом. Глядя на Синие кусты и следуя рубежом, мы подъехали к Козихе, то есть к круглому, заросшему мелким кустарником болоту, которое лежало во владельческих угодьях и упирало в графский рубеж. Это болото названо Козихой потому, что тут некогда оби-

тали дикие козы, а теперь выплаживается в нем большое количество журавлей, гусей и другой дичи. За болотом направо показались Дроновы хутора, то есть место нашего пристанища. Надобно было продвинуться еще с версту вперед, повернуть направо и быть дома. Тут, на краю, так сказать, желанного берега, нас ждало то явление, которому надлежащее название предоставляю дать горячим охотникам.

На рубеже, в том месте, откуда шла со степи дорога к хуторам, мы увидели столб с черной доской. Подле столба два человека о чем-то горячо разговаривали: один из них, пеший, стоял и слушал, — вершник что-то объяснял ему, показывая рукой в разные стороны; наконец он тронулся резкой рысью в степь, часто оглядываясь и зорко осматривая наш поезд. Пешковой пошел к нам навстречу. В нем мы вскоре узнали Артамона Никитича, который на рассвете дня отправился с передовыми для занятия квартир. Трудно было угадать, что спешил он нам сообщить, но, судя по этой дальней встрече, нельзя было сомневаться, что шел за делом.

— Ну, что? — произнес граф на таком расстоянии, с которого можно было слышать слова и обозреть до крайности озабоченную физиономию его камердинера.

Вместо ответа Артамон Никитич снял шапку и, не прибавляя прыти, тем же мерным шагом подошел к экипажу.

— Что скажешь? — повторил граф, ожидая слышать непременно что-нибудь новое.

— Что, ваше сиятельство, плохо... вышел нарочно, чтоб встретить вас... — начал Артамон Никитич.

— Как плохо? Что такое? Что случилось?

— Да у нас, слава Богу, все благополучно... только вот это обстоятельство как вам покажется? — добавил камердинер, показывая на столб с черной доской.

— Что там такое? Что за доска?

— Помилуйте, такое строгое запрещение на все, что, кажется, птице чужой не перелететь за межу! По осени вот уже четыре охоты спровадили... и мы чуть остановились — объездчик на двор: вот он поехал извещать дистаночного об вашей охоте. Строгость, говорит, да взыски с них такие, что боже упаси!

Выслушивая эту новость, мы успели выйти из экипажей и вместо всяких рассуждений отправились к столбу.

Кто ожидал, кому могло прийти на мысль, что в минуту прибытия нашего в этот желанный край нас встретит, как будто нарочно для нас приготовленное, одно из тяжелых испытаний, перед которым вся эта прошлая тоска и дремота, грязь и слякоть, все эти Воробьевки и Свинушки, с их полным безобразием, были ничто?

На столбе мы прочли если не так складно, зато явственно и вразумительно написанное объявление от гласной вотчинной конторы графини Отакойто (так будем ее называть по милости Афанасья), объявление, строго воспреещающее: «прогон на паству лошадей, скота, а главное — ружейную и псовую охоты во владении графини, под опасением, что скот, лошади, овцы и ружья у охотников будут отбираемы, собаки убиваемы, все охотничьи снасти, как то: капканы, дудки, силки, сети перепелиные и прочее уничтожаемы, а сами охотники, в случае ослушания и ссор, в контору по принадлежности представляемы...» и

прочее. И все эти «аемые», то есть чаемые и для нас злополучия были читаны всеми поочередно и по нескольку раз.

Пока господа упражнялись в чтении этого зловещего объявления, охотники тоже сходились, окружали Артамона Никитича и, с приличными в нужных местах восклицаниями на русский лад, выслушивали от него неприятную новость. Один только Феопен слушал в пол-уха и, сидя на козлах стайной фуры, задумчиво похлестывал коротким кнутиком по сапогу. Новость эта, как видно, была для него ничем. Я подошел к нему;

— Ну, Феопен Иванович, дело-то вышло дрянь! — сказал я, любопытствуя знать, как это известие на него подействовало.

— А что?

— Да то, что в графскую нам нельзя и носа сунуть... Запрещение строгое.

— Ни-че-во-с!

— Как ничего? До нас четыре охоты были здесь, да съехали; следовательно, и нас не пустят.

— Захотят — пустят...

— В том-то и дело, что не захотят... Объезд-

ные учреждены, ловят, ружья ломают, собак бьют... Значит, нельзя же идти напролом! Пожалуй, неприятностей могут наделать.

— Да, што?... Ничево-с...

Только и речи! Какое-то странное упорство, досадная самонадеянность, это холодное отношение к интересу минуты... «Черт знает, что это за каменный человек!» подумал я и отошел к обществу.

Мы дошли пешком до квартиры. Дроновы хутора расселены вдоль неправильной ложбины с узким протоком, перепруженным плотинами. Тут, в ближайшем к графской степи хуторе, суждено было им приютиться. Помещение было довольно сносное, особенно для стайных и сворных собак обеих охот нашлись два просторных сарая, которые для большего удобства надлежало только разгородить жердями и устлать соломой; но мы не могли ни к чему приступить положительно. Люди ходили с места на место, опустя головы и, как говорится, **руки врозь**, не зная, за что взяться. Господа собрались в одной из довольно просторных изб, с недавно вымытым дощатым полом. Одни сидели молча, как громом пора-

женные, другие бегали в досаде из угла в угол, цепляясь за связки и чемоданы, кой-как брошенные при переноске их из экипажей. Это неожиданное известие действовало на всех возмутительно: кроме того, что мы лишились одного из самых лучших и надежных мест для двухнедельной потехи, мы потратили много времени на длинный переезд, зашли в противную сторону и отделились от вольных и обильных зверем мест на двойное расстояние. Алексей Николаевич вытребовал хозяина. Ражий мужчина, с окладистой бородой в виде лопаты и с простодушным взглядом, подтвердил наше опасение за будущее и предрекал чистую неудачу: по словам его, уже несколько охот прежде нас, простояв сутки в хуторах, должны были удалиться.

— Завелси, вишь, новый управляющий над заводами и положил запрет на все... а об охотниках и говорить нечего! Что ружей поизломали у мужиков, которые охочи до дудаков[255], что сетей поотобрали у перепелятников, — ужаси! Так и вашей милости, я чай, не придется погалдить[256] в степи, — затем новый управляющий, сказывают, сам соба-

чар! Допржеде его всем было сподручно, и на счет скотины было куды вольготно! А теперь нет! Крутые времена пришли! — заключил рассказчик.

Сообщив эту нерадостную весть, борода убралась восвояси.

Во время обеда нам объявили, что едут объездчики. Все обратились к окнам и с любопытством смотрели на этих посланцев судьбы. На статных конях степной породы полем, прямо к нашему хутору, ехали три всадника.

Не было сомнения, что это объездные с графской ехали к нам с известием, конечно, нерадостным. Тотчас был призван Артамон Никитич, и ему в пять голосов было приказано задерживать г[оспод] прибывших пока кончится наш обед, а между тем принять их как можно ласковее, угостить порядком и стараться как можно вкрадчивее и искуснее «добыть языка», но, главное, стараться задобрить и, если можно, то купить их расположение.

Что было говорено до нас — неизвестно. После обеда велено впустить объездных к его сиятельству. Один из них остался при лоша-

дях, двое вошли к нам в избу и, почтительно поклонившись, остановились у двери. Первый из вошедших был молодой, статный и красивый малый, в синем тонком полукафтানে, перетянут черкесским поясом и в козловых сапогах; с первого же взгляда было ясно, что этот щеголь был неглуп, речист и самолюбив, то есть непрочь от удовольствия получить особенный почет и при случае разыграть роль проезжего купчика. Он состоял в роли старшего объездчика или дистанчного, имел у себя под командой двенадцать человек верховых налетов, которыми, как узнаем после, распоряжался очень умно и не безвыгодно для себя. Товарищ его, простой объездчик, был что-то среднее между мужиком и дворовым и вместе с тем среднее же между человеком обыкновенным и страшилищем. Судя по его росту, плечам и этой скуластой, плоской, изрытой оспинами, с тупым и зверским взглядом раскосых глаз харе и вообще какой-то свирепости во всем ее складе, значилось ясно, что для этого степного витязя выпить полведра с маху, сожрать барана и приплюснуть встречного было делом, не стоя-

щим долгого размышления.

— Ну что, господа честные, зачем пожаловали? — начал Алексей Николаевич, которому, как опытнейшему и бывалому уже здесь, мы предоставили дипломатическую часть этого дела.

— К вашему сиятельству явились с покорнейшей просьбой, — отвечал начальник стражи с полным уважением и заученной подчиненностью. По его голосу и выражению надо было думать, что он должен быть или смысленейший и тончайший плут, или скромный и точный исполнитель своей обязанности.

— Рад служить. Что вам от нас надобно?

— Мы наслышаны, что ваше сиятельство изволили прибыть в эти места насчет охоты, так если вашему сиятельству неравно желательно будет проехать в нашу степь, то мы обязаны вас предупредить и дать об вас знать конторе, а вам заявить вперед, что травить зверя в наших дачах не дозволяется.

— Знаю, любезный! Мы давеча читали там у вас на меже запрещение. Кто это смастерил его? Для вашей графини, кажется, все равно... Что, она вернулась из Италии?

— Никак нет. Вот уж седьмой год пошел...

— А управляющий у вас тот же? Как его...
Огнивкин, Кремешков, что ли? Он был человек сговорчивый.

— Никак нет. На их место назначен новый. Вот уж два года с лишком, как они заведывают и вотчиной и заводами.

— Ага, так это он придумал такую строгую систему?

— Не могу знать. Нам от конторы назначение последовало. Еще с прошлого года учредили четыре дистанции, человек по двенадцати объездных в каждой.

— Ого! Значит, к вам теперь и муха не пролетит без вашего ведома?...

— Муха не муха, а вот насчет бычков да промышленников разных — уж это будет наше попечение... Тут мы должны стараться не упускать из вида ничего.

— Хорошо. Ну, а если нам теперь понадобится идти к Боброву или на Битюг? Тут как вы посудите? Ведь нам нельзя же перелететь на крыльях верст сорок!... Мы не журавли!

— Это как вашей милости будет угодно. Тут мы воспрепятствовать не можем. Только

я обязан о проходе вашем известить контору и проводить вас через свой участок. Уж это моя должность. Вот, не угодно ли вашему сиятельству любопытствовать на инструкцию?

И г[осподин] дистаночный почтительно поднес Алееву перегнутой ввосьмую лист бумаги.

Фирман[257] этот был написан года два назад и так потерт от постоянного ношения в кармане, что состоял из восьми отдельных лоскутков с буроватыми пятнами. Мы окружили Алеева и начали читать, глядя через плечи. Любопытное постановление начиналось так: «От вотчинного правления ее сиятельства — и так далее — старшему дистаночному 2-й половины колягинских меж — Алексею Антонову Крутолобову.

«Инструкция»

Тут следовало множество пунктов за подписью главноуправляющего полковника Стебакова и управляющего конторою Клевалова, а внизу печать.

Инструкция была полная и неумолимо строгая. После пунктов, относящихся к чаба-

нам, гуртоправам и прочему люду, следовал длинный наказ, как управляться с охотниками всех сортов и видов. Тут было припасено, как говорится: «всем сестрам по серьгам»! Начитавшись вдоволь о ястребятниках, перепелятниках, псовых и ружейных охотниках, мы дошли наконец до пункта двадцать девятого, где было сказано: «Буде же осведомишься верно о прибытии больших псовых охот для травли зверя в твоём участке, то обязан ты прибывших с таким намерением господ предупреждать, а о прибытии их контору немедленно извещать. Если же таковым охотам потребуется проходить степью, то обязан ты с объездными оную охоту сопровождать через свой участок, строго наблюдая притом, чтобы во время следования оной охоты никакого зверя травимо не было». Наконец, пункт тридцатый гласил так: «У казенных и помещичьих крестьян, однодворцев и вообще у промышленников, ставящих капканы на сурков, оные отбирать и вместе с владельцами таковые орудия в контору представлять», и прочее.

По прочтении этой «грозы конторской»,

как назвал ее Владимирец, между нами возникла жаркая французская полемика; каждый опровергал чужое мнение и предлагал от себя что-нибудь новое в свою очередь ни к чему не годное. Стерлядкин упорно стоял на том, что это *quelque piège... pour attraper*[258] — насчет **срыва**, и стоит только заискать и купить расположение дистаночного, то мы, наверное, будем травить сколько душе угодно. На этом кончили, и чтоб условиться на свободе, как действовать и что нам окончательно предпринять, Алеев обратился к дистаночному.

— Ну, любезнейший, это, видно, у вас тут завелись новые порядки, и если существует такое строгое запрещение, то мы, конечно, не решимся сделать вам неприятность. Спасибо, что ты известил нас вовремя. Если понадобится идти вашей степью, мы тогда уведомим. А теперь, чтоб расстаться друзьями, ступайте-ка напейтесь чайку.

После легкого отказа г[осподин] дистаночный и его молчаливый товарищ вышли с Артамоном Никитичем пить чай.

В короткий срок их отсутствия, на свободе,

после подробного обсуждения всего дела, было условлено и положено сообщать: «Если не удастся как-нибудь **смахлевать** этого дела с дистанчным и братиею, помимо конторы и властей, то писать письмо к управляющему и просить у него дозволения, по крайней мере, проходом через степь, метнуть гончих в Синие кусты». Умнее этого придумать, кажется, было нечего.

Через час дистанчный явился благодарить за угощение. Хмельного он ничего не употреблял, и потому вел себя по-прежнему почтительно и с достоинством. Задобренный ласковым приемом и как будто сочувствуя нам, он прибавил:

— Жаль, ваше сиятельство, лисиц у нас много! Я, признаться, и сам охотник, а ловить их не дозволено, хоть бы на вас посмотрел, как бы вы стали тешиться...

— Да, не худо бы... А вот что, любезный, нельзя ли так, помимо вашей инструкции? А? Мы бы атукнули в Синих кустах, прошлись по сорам... Кто там увидит? Управляющий ваш с конторою там, за тридевять земель...

— Никак нельзя, ваше сиятельство, насчет

этого у нас строгости большие. Народ тоже... дружка за кружкой, так вот, чего не было, плетут!... Помилуй Бог, донесут; как раз под красную шапку[259] угодишь!... Управляющий же теперешний, не тем будь помянут, человек куда тяжел!...

— Ну, а если мы отправим к нему нарочно-го с письмом и будем просить разрешения поохотиться хоть в одном твоём участке?... Как думаешь, дозволит?

— Этого я не могу вам доложить... уж это как вам будет угодно... Затем счастливо оставаться!

Заметно было, что последняя предложенная Алеевым мера как-то неблагоприятно подействовала на дистаночного; он поспешно раскланялся и вышел.

Между тем, пока шли у вас эти неудачные переговоры, Феопен Иванович сидел на зава-лине у крайнего двора, где поместился также и объездчик, остававшийся при лошадях. С первой понюшки табаку, которым Феопен Иванович изволил попотчевать нового зна-комца, между ними возникла длинная беседа. Степняк, как видно, был непрочь погупторить

с добрым человеком, а ловчий был великий мастер слушать; неизвестно, о чем толковали они, но видно было, что Феопен Иванович услышал для себя что-нибудь очень приятное, потому что даже и тогда, когда степные стражи тронулись в путь, он долго смотрел им вслед, и пропустив потом двойную порцию роменского[260], с передышкой, крякнул и примолвил:

— Ладно!

По отбытии дистаночного мы остались в более сомнительном положении, нежели были до его появления. Осталась одна темная надежда на милость управляющего... За решением исполнение не замедлило. Через час времени хозяин наш стоял у избы с парой дюжих коней, запряженных в крестьянскую телегу, и Афанасий, напутствуемый всеми возможными советами и приказаниями, уселся на мягкой подстилке и резкой рысью отправился в путь. Взад и вперед ему предстояло сделать с лишком семьдесят верст, и потому мы не надеялись получить ответ ранее, как на другой день к вечеру.

Зато встреча ему была самая почетная. На

другой день, во время обеда, доложили нам, что едет Афанасий; мы словно по команде вскочили с мест и побежали к окнам. Охотники все до одного вышли к нему навстречу; даже бабы и ребята высыпали на улицу поглазеть на происходившее. Обозрев эту картину, мы снова уселись за покинутую трапезу. Вошел Афанасий и... подал Алееву его же письмо нераспечатанным; при письме была приложена маленькая записка.

— Что ж? — проговорил Алеев, принимая письмо.

— Что, сударь! Ездил ни по что, привез ничего.

Алеев прочел записку сначала молча, потом начал вслух:

«Его высокоблагородие г. главноуправляющий третьего дня в шесть часов пополудни изволил отбыть в С. — Петербург, сроком на один месяц, а потому контора, за отсутствием его, не может дозволить охоты во владениях ее сиятельства.

Конторщик Чревобитов».

Боже мой! На семи печатных листах не пе-

редашь всего, что говорилось по получении этого окончательного отказа! Начали наконец утверждать и доказывать, что мы можем травить в дачах графини Отакойто. Отчего, например, во время прохода степью на нас не могут напасть волки, лисицы, даже зайцы? И мы, защищая свою жизнь, рубим их, стреляем, наконец, травим собаками. Бедную графиню наделяли заочно такими побранками, от которых она, наверное, упала бы в истерику, если бы могла их слышать. Управляющему отпускалось их вдвое. Бацов свирепствовал и грозил ему решительным побиением. Наконец он приглашал всех следовать за ним с обнаженными кинжалами и в случае надобности травить самих объездчиков... Это породило общий смех, и бедный Лука Лукич, оставленный в одиночестве при своем лютом мнении, горячился пуще прежнего и начал даже нам самим угрожать кинжалом. Погоревавши и насмеявшись досыта, решили наконец завтра же тронуться в дальнейший путь, взять в полдень Козиху, а оттуда с собаками на смычках идти степью прямо к Хопру.

Решено. Осталось только отдать приказа-

ние ловчим.

— Фунтик, кликни Феопена! — сказал Алев случившемуся тут мальчику Стерлядкина, который так горько рыдал, выпрашиваясь у него в отъезжее. Название Фунтика он получил от охотников уже во время пути.

Вошел Феопен и, по обыкновению, прилип у притолоки.

— Завтра, — начал Алев, надо брать Козиху.

— Это как вам будет угодно... По-моему, так Козихи спервоначала брать бы не следовало; ее успеем взять и напоследях.

— Когда напоследях?

— Известно, к концу, перед выходом, либо так, между дела, как вздумается. Место под рукой, домашнее, зверь набродный.

— Ты, как видно, располагаешь туразить [261] тут до зимы, а я тебе говорю, что нам надо завтра взять Козиху по пути; мы выступим отсюда к Хопру.

— Это что ж?... Что ни лучшие места кинуть так! Лучше было и не ходить в такую даль!... Что ж, мы все и будем выступать да выступать? От добра добра не ищут. Место —

в свете первое. Зверя — сила! А вчера, сидя на завалине, четырех перевидал на рыску... лис выкунял[262]; горит, грач-грачом! Самая пора; только бы вот тронуть — посыплют...

— Ты говоришь как будто во сне... я знаю твой характер: вынь да положь! Слышал ведь, кажется!...

— Да што!... Слышать-то нечего!

— Как нечего! Тебе говорят, что в графскую нас не пустят.

— Как не пустить?... Захотят — пустят...

— Ну, вот, прошу толковать с подобными людьми! — проговорил Алеев горячо. — Зарубил одно... Теперь прошу его урезонить! Тебе говорят русским языком, что мы завтра должны отсюда выступить! Тут делать нечего.

— Это воля ваша... как вам будет угодно... А я мекаю так, что дальше идти нам незачем. Что нам делать на Хопре? Там, я чай, съехалось охотника не в перечет... Поди, подметаю чужие следы. А тут ешь — не хочу! Таких мест век не обыщешь, благо, дошли.

— Что ж ты будешь тут делать?

— А что хочу, то и делаю!

— Ну, вот, послушайте его! — обратился к

нам Алеев. — Прошу нас потолковать с такими людьми. Тебя призвали сюда для того, чтобы отдать приказание. Завтра мы выступаем. По пути возьмем Козиху, и оттуда, сомкнувши стаю, идем на Хопер. Понятно тебе? Затем тебя и кликнули. Теперь ступай!

— Это понятно. Слушаю-с!

Феопен посмотрел на меня твердо, вопросительно, как будто он хотел что-то мне сказать, повернулся и как-то неохотно вышел. По отбытии ловчего между охотниками возникло словопрение. Как утопающий хватается за соломинку, так Бацов схватился за мысль Феопена и начал варьировать ее на разные лады. Все, видимо, были недовольны своим настоящим положением; никому не хотелось трогаться с места и идти дальше, как говорится, на авось! — и потому Лука Лукич не встречал общего отпора, хотя на вопрос Алеева, для чего нам здесь оставаться и чего ждать, он не мог держать никакого ответа. Я сидел молча и слушал, убеждаясь больше и больше, что все, словно по заказу, несли околесную... Тут, во время общего говора, незаметно для прочих, ко мне подвернулся Фунтик и сказал

шепотом, что Феопен имеет надобность переговорить со мной о весьма нужном деле и просит прийти к нему так, чтобы «не заметили господа». Увернувшись очень ловко, я вышел и по указанию Фунтика отправился на таинственное свидание с ловчим.

За хозяйским гумном, на берегу тинистого протока, гончие лакали запарку из полотняного походного корыта. Феопен стоял тут, опершись грудью на весло; с ним были два его помощника — Сергей и Пашка.

Я подошел к обществу и попросил огня раскурить сигару.

— Что, сударь, вышли прогуляться? — сказал ловчий.

— Да. Наскучило там сидеть. Все горячатся, спорят и все-таки не столкнутся, что делать.

— Да што... Не слушал бы!... Дбруц!

Феопен размешал остаток запарки и обратился ко мне:

— Это я вам доложу, сударь, у нас всегда так ведется: с подходом да свысока! Вот и сюда пришли за каким делом? На столбах грамоты вычитывать! Уж это я вам доложу, что не выду так отсюда, а вырою столб и буду возить

с собою; куда придем — там и поставлю: пусть их читают на здоровье!

— Нельзя же, любезный друг! Это дело такое: на что если пойдет — и столбу верь. В чужих дачах, ты сам знаешь, травить нельзя, а пойдешь наперекор, — так, пожалуй, вле-тишь в такое дело, что после и не распута-ешься!

Вместо всякого возражения Феопен отвернулся к корыту и начал глядеть по-своему. Эта переглядка вместе с молчанием для меня, начавшего несколько понимать, натуру Феопена Ивановича, значила ясно: «Дескать, и этот городит такой же вздор, как остальные; и этому больше нечего отвечать, как «слушаю!»

— Серега, веди! На место! — крикнул он гончим. Собаки скупились и пошли вслед за Сергеем. — А ты, Пашутка, снимай корыто!

Пашка принялся снимать с колушков ко-рыто для того, чтобы развесить его на жердях для просушки.

— Виноват, сударь, потревожил я вас отту-да. У меня до вас нужное дельце, — начал Феопен, отходя в сторону.

— Очень рад служить, чем могу. Говори,

что надо?

— У вас лошади не истомлены, шли налегке; кучер ваш парень степенный... Нужно-то б съездить мне, недалече тут, к куме... Не пожалуете ли вашу тройку? Лошади будут сохранны, езды тут нисколько.

— Помилуй, Феопен, как же тебе не стыдно затрудняться в таких пустяках? Сам бы раньше меня распорядился и съездил, куда надо. Лошади свежие, что им, сделается?

— Нет, уж вы сами потрудитесь приказать, своим, словом: это для меня верней. Да там, между господ, неравно, к речи придет, не проговоритесь как-нибудь. Мне бы съехать только так, чтоб невдомек нашему народу, а там пожалуй, хоть и спохватятся, подождут, невелика важность.

Объяснивши в коротких словах, какого рода приказание я должен буду отдать Игнатке, Феопен кликнул своего выжлятника, которому, как видно, он доверял во всем значительно больше, нежели Сергею.

— Пашутка, летай, сыщи ихнего кучера да шукни ему, чтоб поспешил сюда! Только, смотри, осторожней; не заметил бы кто.

Недолго пришлось нам ожидать. Пашка и Игнат мигом явились.

— Игнатка, — сказал я своему вознице, в сумерки надень на тройку хомуты, только так, чтоб этого не заметили и не было распросов, и как только народ соберется ужинать, запряги осторожнее и съезжай со двора как можно тише. Феопен Иванович с Пашкой поедут с тобой куда надо. Ты теперь останешься в полном распоряжении у Феопена Ивановича, и если он похвалит тебя за усердие, то получишь большое от меня спасибо.

Пожелав Феопену Ивановичу счастливого пути, сам не зная, в какую сторону лежал этот путь, я пошел обратно, нимало не затрудняя себя вопросом и желанием разгадать затею нашего ловчего.

«Что будет, узнаем после, — думал я, — а теперь надо молчать».

С этой мыслью очутился я снова и обществе горемык-охотников. Горячий спор и длинные рассуждения шли у них по-прежнему, но дело от этого не уяснялось, и прежнее решение оставалось во всей силе.

Принялись наконец с досады подтруни-

вать над своим безотрадным положением. Владимирец в этом случае первенствовал и резкими каламбурами вызывал общий хохот.

Подали уже свечи, и, слушая втихомолку разные побасенки, я преспокойно допивал второй стакан чая, как неожиданно рушилась гроза на мою тайну.

— Ну, если ты так твердо веришь его словам (словам Феопена), — начал вдруг Алеев, относясь к Бацову, — так ты бы потрудился разузнать от него хорошенько, с чего он вздумал утверждать.

— Однако ж, — подхватил граф, — я сам почти одного мнения с Лукой. — Ты знаешь ведь Феопена: он скорее промолчит о деле, в котором сам сомневается.

— Хорошо. Если он докажет чем бы то ни было, что для нас лучше оставаться здесь, а не идти дальше, — я готов оставаться и ждать хоть целую неделю.

— Пожалуй. Эй, кликните Феопена! — крикнули два голоса разом, и Фунтик прытко побежал из избы.

«Ну, — подумал я, — что теперь лучше: **быть или не быть** Феопену?»»

Прошло около получаса, и Фунтик явился с докладом, что Феопена Ивановича нигде не сыщут.

— Как не сыщут? Пошли кого-нибудь поумней, чтоб спросили у выжлятников, — сказал Алеев.

Прошло еще полчаса. Явился посланец «поумней» и донес, что ловчего нет нигде, и вдобавок Пашка пропал.

— Дурачье! Послать сюда Сергея!

Явился Сергей и доложил, что, когда он уходил ужинать, Феопен и Пашка оставались при стае, вернувшись же назад, он не застал ни того, ни другого.

После этого донесения последовал новый приказ: узнать, где Феопен и Пашка.

Вслед за тем в присутствии моем было отправлено пять посланцев справиться уже о том, нашли ли Феопена? Наконец в половине двенадцатого явился сам Артамон Никитич и доложил как-то тревожно и таинственно, что моя тройка сбежала куда-то со двора.

— Ну, об этом не хлопчите, — отвечал я, надумавшись на свободе, как поискуснее солгать, — Я еще с утра приказал Игнатке пере-

ковать пристяжных и перетянуть шину[263] на колесе. Ведь завтра в поход, так надо же исправить...

Это успокоило многих. Спросили еще раз три о Феопене и мирно улеглись спать. Наутро мы пробудились очень рано, и первый вопрос у всех был: где Феопен? Но — увы! — и Феопен, и Пашка, и моя подкованная тройка с Игнатом как будто и на свет не роживались. Вплоть до девяти часов только и речи было, что о Феопене и его спутниках. Я упорно молчал, твердо надеясь, что рано или поздно они явятся. Наконец вбежал к нам Фунтик, как будто с вестью о пожаре.

— Феопен Иванович идет, и лошадей везут! — проговорил он наскоро.

Вместо расспросов мы вышли один по одному и очутились посреди выгона.

По одной из окольных дорог, не со степи, а от соседних хуторов, тихо шел Феопен в своем фризовом балахоне. Он нес что-то похожее на маленькую собачку, которая прыгала и вертелась у него на руках. Следом за ним тройка, поднатужась, везла грузный воз. По сторонам шли Игнат и Пашка. У одного в руках были

вожжи, другой управлялся с таким же неспокойным зверьком, как и у Феопена.

Недоумевая, на что подумать, мы молча дождались, пока Феопен Иванович очутился от нас в десяти шагах. На руках у него рвался и юлил всячески живой сурок. Взмыленные лошади подвезли к нашему крылечку покрытый попонами грузный воз, в котором, судя по упору тройки, было не меньше пятидесяти пудов клади.

— Что это? Где это? Как? Откуда? — И множество подобных вопросов и восклицаний встретили в один раз нашего мудреного зайчика.

— Да вот, ездили поглядеть, как запретный зверь ловится, — отвечал Феопен и, сдав сурка одному из охотников, которые сбегались со всех концов поглазеть на происходившее, он полез на колесные ступицы и, сдернув попоны, покидал на пол около десятка давленных сурков. Остальная кладь состояла из капканов весьма отчетливой и прочной работы. Судя по емкости телеги и высоте вороха, надо было полагать, что тут их было штук до двухсот, — следовательно, одного железа не мень-

ше сорока пудов.

Неожиданная новость эта до того озадачила всю честную компанию, что никто не решался высказывать вслух своих мыслей. Глядя на это темное пока для всех дело, я как-то невольно припоминал те веские слова, которых смысл теперь только начал понемногу объясняться.

«Да што... ничево-с... как не пустить: захотят — пустят!» — думал я беспрестанно и полагал наверное, что вся эта проделка, всю ее тяжелой стороной, ляжет прямо на дистаночного и его грозную инструкцию. «Кстати же, — думал я, — там есть кое-что о сурках и капканах!»

— Чьи ж это капканы? — спросил Алеев.

— А хто ш их... Там разберутся... Хозяин съестся, — отвечал Феопен с свойственной ему уклончивостью.

— Как не найтись! — прибавил краснобай Никита, взвешивая на руке один из капканов. — За десятком, пожалуй, не погнались бы, а тут, вишь, что их наворочено: рублей на тысячу будет.

— Тысяча не тысяча, а за пятьсот не уку-

пишь, — возразил старик Андрей, сам капканщик. — Работа знатная, целковых[264] полтора штука...

Стерлядкин и граф посмотрели молча Алееву в глаза и только пожалы плечами; последний обратился к своему ловчему.

— Ну, Феопен, спасибо тебе за сметку, а за усердие вдвое. Теперь я вижу, что ты говорил правду: отсюда нам идти, видно, погодить.

— Что ж, денек — другой — время нисколько. А там как вам будет угодно...

— Ну, ну, ладно! Теперь это дело надо отдать тебе в опеку; справляйся как знаешь. Тебе и книги в руки. Мы тут в стороне. Пойдемте, господа!

И господа возвратились в избу совсем не в таком расположении духа, в каком вышли из нее незадолго: у всех просияли лица, Пахнуло вдруг надеждой на благополучный исход испорченного нами же и, как казалось, невозможного дела.

— Что это такое? — повторяли один за другим в раздумье, не зная как и что подумать о случившемся.

— Ага! Что? Я вам говорил! — приговари-

вал Бацов, бегая взад-вперед по комнате. Он торжествовал.

— Ну, брат, Феопен твой редкий человек! — вторил граф, и вслед за тем все сразу приступили ко мне с вопросом, что значат эти сурки и капканы, с какой целью Феопен скрылся вчера и для какой надобности выпрашивал у меня лошадей. Я отвечал, что цель эту постигаю настолько же, насколько и они, а лошадей он просил для того, чтобы съездить к куме.

Все громко захохотали.

— Из всего этого я вижу, — заключил граф, — что целые сутки городили вздор. Один только этот немогузнайка знает дело, как оно есть. Теперь нам остается одно: ни словом, ни делом не мешать ему ни в чем.

— Пусть как знает, так и кроит, — добавил Стерлядкин.

Как будто к слову явился Феопен Иванович.

— Ну, что скажешь хорошего? — спросил Алеев.

— Ничего-с. Пришел, не будет ли какого приказания?

— Ну, теперь какие приказания!... А вот что, скажи-ка нам, откуда ты нацапал такую пропасть капканов?

— Как откуда? Так вот пообобрал... Валялись кой-где по запретным местам.

— То-то, смотри, как бы не явились с обыском? Тогда, знаешь, надо знать, как...

— Да што... ничево-с... Какие там обыски!... Известно: вор у вора дубинку украл. Уж на этот счет будьте покойны! Как бы нам еще не пришлось пообыскать округ их! А то... Тут не то дело! — прибавил Феопен, помолчав немного, и на лице его мелькнула злая усмешка, как будто он припомнил что-то, очень для себя забавное и смешное.

После этого, конечно, говорить было нечего.

— Тебе, я думаю, не мешает теперь отдохнуть, — заключил Алеев.

— Пойду. Ночь-таки намаялись. А насчет того, на случай наедут сюда эти брызгуны, так уж извольте приказать, чтоб к вашей милости их никаким манером не допускать: дескать, почивают, что ли, там, господа, а коли что, мал, надо, так ступай к ловчему, затем,

мол, что ему от господ приказ отдан. Я так и ребятам наказал.

— Ладно! Делай там, как знаешь!

— Затем счастливо оставаться! А телега пусть так и стоит перед крыльцом; ее не прикажите трогать.

Едва ли нашему ловчему удалось соснуть час времени. Дистаночный и зверообразный его товарищ не замедлили прибыть со степи; после коротких расспросов у охотников, нарочно приготовленных для их встречи, степные стражи отправились к нашему крыльцу, где встретил их Артамон Никитич и, объяснившись, как подобало, отправил их с Фунтиком по принадлежности, то есть для свидания с ловчим. По словам графского камердинера, дистаночный Крутолобов с виду был уныл и озабочен: он долго и навязчиво просил позволения представиться графу и говорил, что, кроме дела насчет «грабежа», как он называл подвиг Феопена, он имеет объяснить его сиятельству много кой-чего «касательно охоты».

С прибытием дистаночного мы были обязаны выдерживать строгий карантин; всех

нас мучило любопытство знать, что станет прорекать Феопен Иванович при виде человека, прибывшего искать законной защиты в деле насилия, грабежа и иных зол, возмущающих гражданское благоустройство. Бацов не утерпел и пригласил меня сопутствовать; с общего согласия, мы облеклись в охотничьи кафтаны, надели косматые шапки, пробрались огородом и притаились у плетневого сарая, где после ночных трудов Феопен Иванович изволил расположиться на отдых. Когда мы устроились на своем секретном посту, и я отыскал щель для одного глаза, вступительные речи с обеих сторон были, как видно, уже кончены, потому что разговор перешел в область тонких рассуждений, весьма мирного, впрочем, и дружелюбного характера. Дистанционный стоял, глядя пытливо на Феопена, товарищ его беспечно рассматривал ничтожные предметы, как то: седла, ножи, рога и прочее. Ловчий наш лежал на кровати, устроенной наскоро из трех тычинок с перекладинами, проткнутыми в плетень; тонкая соломенная подстилка, потник под боком и седельная подушка в головах — вот и все пред-

меты, по которым блуждали косые глаза объездчика. По лицу дистанчного было заметно, что он был чем-то озадачен. Феопен Иванович дотягивал, не торопясь, обильную понюшку и начал, глядя по-своему на козловые сапоги начальника стражи:

— Оно дело, знамо, на что запрет положен, до той вещи и не касайся... Птица — так птица, а зверь — зверь. Сурок у вас тоже за зверя числится? Неровен случай, я бы тово, себе на обшивку... вы, небось, в зверья его оточтете?

Было ясно, что дистанчного Крутолобова очень затрудняло разъяснение этих вопросов, а потому, минуя их, он двинулся к своей цели сначала окольною дорожкой:

— Коли вы насчет этого нужду имеете, Феоген Петрович (так именовал он Феопена), так мы вам предоставить можем.

— Что вы мне предоставите?

— Вы говорите вот насчет обшивки, так если угодно, мы вам парочки три-четыре настоящих, выделанных... Уж это будьте в надежде!

— Ну, на этом спасибо, а теперь котик дорог стал, пострели ево горой! Полушубок, что

ли, опустить — дай не дай два рубли, а то так и весь целковый[265].

— Это так-с! Справедливо!

Прослушав первое спасибо, дистаночный двинулся вперед шибче.

— А нельзя и нам, Феноген Петрович, уладить с вами дело без дальних хлопот, так, чтоб и нам было не обидно, и ваши труды и хлопоты не пошли задаром?

— Ну, моего труда тут нисколько. Известно, делай, что велят...

— И моего интересу, признаться, тут нет вовсе; только что одни, можно сказать, неприятности... ребят жалко: исхарчились, сердечные! Выгоды-то им, почитай, никакой, а убытку страсть что... Жалованья, по нашему делу судя, почитай что на соль, недохватит.

— А на каком окладе они состоят?

— Рублей по сту с небольшим выдастся из конторы... Сами судите: лошадь, самому пить, есть, одеться, обуться надо...

— Угу...

— Так я вот, признаться сказать, глядя на их нужду, и говорю: «Поставьте, ребята, капканов по пятку на человека. Все-таки подспо-

рье. Уж о барышах тут что толковать, а нужду покроет».

— Гмм... Знамо, господам служите, от кого ж и поживиться, как не от господ!

— По справедливости так, Феноген Петрович, вы это говорите, настоящее как есть... — подхватил дистаночный, обрадованный стоворчивостью своего собеседника и его, как думал он, незрелым пониманием настоящего дела. — так вот, изволите видеть, им-то убытки, а мне, пожалуй. неприятности не миновать из-за них.

— Неприятности-то нипочем, не было бы чего хуже... Оно, конечно, и жаль, как добрый человек за чужой грех пропадать станет... Так вы говорите, капканы-то объездчицкие?

— Истинно так.

— Гм!... Как же это?... Я уж и понять не могу: вы же зверя оберегаете, вы же его и ловите?!

— Уж это мы оставим в стороне, Феноген Петрович... Я вам сказал по сущей откровенности, что тут ничего больше, кроме с моей стороны помощи служащему народу... А вы вот, Феноген Петрович, возьмитесь-ка устро-

ить дельце так, чтобы и нам остаться без обиды, и вам за хлопоты... я, пожалуй (прибавил краснобай с приличным понижением голоса) шукну ребятам скинуться... рубликов пять-десять готовы вам служить...

— Гм... Пятьдесят рублей маловато... За совет сто возьму, а за дело не могу взять с вас тысячи. Граф осерчал... перед господами-то ему стыдно стало, затем обнадежил! «Пойдем, — говорит, — к маменьке в степь, она, — говорит, — просила; там, вишь, лисиц много»...

— Разве ваш граф нашей графине...

— Эва, хватились! В племянниках спокон века числится, да она ж ему и мать крестная притом! По зиме видались где-то там в чужих краях, так она сама припросила: «Побывай, — говорит, — Миколенька, в мою вотчину; взгляни там, — говорит, — на ихние порядки да отпиши ко мне, что и как»...

Бацов мой чуть не фыркнул, слушая эту сказку. Он закрыл рот ладонью и покраснел, как бурак.

— Да мы не знали этого... — проговорил тревожно дистаночный.

— Да оно и знать-то вам не для чего...

— А то, кабы их сиятельству угодно было заявить сначала, и к управляющему бы посылать не для чего...

— Ну, к управляющему-то он посылал не затем, а приказывал явиться сюда налицо; должно быть, пряжку хотел намылить: лапа-то у вашего управляющего, слышно, не в меру загребиста, да и дела у вас тут больно стервецкие завелись!

— Какие ж тут особенные такие дела могут?... По экономии во всем, как и прежде, порядок один... у нас на виду ничего нет такого, чтоб уж очень... а если слух там какой прошел неблагоприятный для управляющего, так это дело не наше...

— Слух тот, что мошенник, и подобрал к себе таких. Какой у вас тут такой Клевалов есть?

— Это главный конторщик; человек хороший...

— Ну, этому Сибири не миновать!

— Напрасно так думаете. Его укорить ни в чем нельзя. Дело свое справляет, как лучше, требовать нельзя. Распоряжения идут не от

него... Письменная часть...

— А письменная-то часть у них вот какая: по по ведомостям пишут землю внаймы полтора целковых, а берут с купцов шесть; степи отдают в лето гуртов под шестьдесят, а в книгах ставят поименно пятнадцать; испанок атарами перегоняют в имение к управляющему, а по книгам овцы дохнут от оспы да от глиста; в заводе что ни кровным маткам глаза выкалывают да продают за брак, с молотка, по три целковых, а с окольных заводчиков жарят за них по пяти, да по семи сот... Мало ли! Всего не перескажешь!... Вот и по вашей сторожевой части тож дела дьявольские живут... Вы, вот, как видно, ничего... а есть у вас тут старший дистаночный Крутолобов, у графа он записан Алексеем Антоновым. — И Феопен Иванович посмотрел дистаночному в глаза так дружелюбно и доверчиво, как будто Алексей Антонов Крутолобов был от него за тысячу верст.

Дистаночный молчал; лица его видеть я не мог, но заметил, что уши у него сильно покраснелись.

— Вы вот и об этом, небось, скажете, хоро-

ший человек! Да так и должно... Он вам начальник, а об начальнике, какая он шельма ни есть, говорить с покором не след, затем сам идешь его путем, сам будешь начальником!

— Это уж, Феноген Петрович, я вам доложу, его сиятельству кто-нибудь напраслину донес, — произнес дистаночный неровным и сильно упавшим голосом.

— Ну, вы, должно быть, его мало знаете, а я вам скажу, что и в начальники к вам попал он через сестру; та, вишь, у этого мошенника Клевалова в полюбовницах живет, а с такой защитой у него и дела идут не по-вашему... Вы вот говорите: глядя на нужду, дозволяете ребятам по пяти капканчиков, и то боитесь, как бы неприятности не нажить, а у Крутолобова пополам с конторщиком, я вам доложу, их стоит вблизи тысячи. За прошлый год, вишь, снасть окупилась сразу, да тысячи по две целковых на брата в карман очистили. Уж это так, поверьте... Не хотите ли табаку? Как вас по имени, по отчеству? — заключил Феопен Иванович, поднося тавлинку.

Дистаночный нехотя захватил щепоть та-

баку и проговорил как-то невнятно:

— Алексеем.

Феопен Иванович пропустил свою порцию с храпом и прибавил, видимо, для того, чтоб втянуть в разговор сильно оторопевшего собеседника:

— Так вот они, сударь ты мой, какие дела случаются на белом свете!

Как ни был Крутолобов речист и ловок, но после такого разгрома, видимо, растерялся и не знал, что начать; наконец он обратился к своему молчаливому товарищу и выслал его осмотреть лошадей.

— Что ж теперь, как ваши господа хотят поступить насчет капканов?

— Кто ш их... В дело это вступился граф, приказал счесть, сликовать[266] да печати приложить.

— Вот что, Феноген Петрович, помогите, дайте совет. Я вам, кажется, по конец жизни слуга... не оставьте! — взмолился бедный Крутолобов.

— Ну, вам тут трусить, я чай, нечего. Коли возьмутся, так за старшин да начальников. Первым делом управляющего тряхнут...

— Да нет, вы меня-то не оставьте: дайте ваш совет, как тут поступить.

— А я вам подам вот какой совет. Чем тут попусту языки мозолить, садитесь-ка лучше на лошадь, да поезжайте к своему старшине Крутолобову: дескать, так и так, коли хочешь, мол, крутой лоб поберечь и нас выручить, так поспешай. Мол, есть у меня такой человек, что отвораживает от людей всякие беды-напасти... да захвати, мол, про запас десять пар котика да сотню целковых.

— Батюшка, тяжеленько будет!

— Ну, вам-то что чужие недостатки беречь? Может, я ему и подам совет, что двухсот стоит.

— За котики не постоим, а пятьдесят рубликов примите.

— Чудак-человек! Говорят вам, поезжайте...

— Ехать-то мне некуда, Феноген Петрович, в старшинах состою я, забота об этом деле на мне лежит.

— Так это вы-то Крутолобов! — проговорил Феопен Иванович очень сценично.

— Доподлинно, я...

— Эх я дура-то... мужиковина! Какого рюха дал! Эх вы меня оплели, повыпытали как ловко! Ну, не сказал бы я вам кой-чего, кабы знал наперед, что вы...

— Ну, уж и вы, Феноген Петрович, на руку охулки не положите. Что делать? Сто рублей отвечаю, только чтоб совет был в пользу.

Столковавшись таким образом и условившись окончательно, Крутолобов вынул из бокового кармана красный сафьянный бумажник и отсчитал деньги. Феопен Иванович проверил, сложил их бережно и сунул в жилетный карман.

— Ну, теперь, Феноген Петрович, за вами черед: что вы скажете, как мне поступить в этом деле?

— А я скажу вам с первоначала, что дело ваше придется вам обломать не без труда.

— Как это так?

— Граф опасен. Осерчал, упрям, к нему подходи теперь умеючи. Перво-наперво с приезде он больно зарился на нашу степь, хотел тут постоять, потешиться... а как вы ему вчера задали загвоздку — теперь и спятил. «Не пойду, — говорит, — нога моя не будет

там!» Заладил одно: «Мошенники, грабители! Жив не буду, — говорит, — чтоб не доконать их!» Вот он в ночь и послал своих двадцать человек снимать капканы с сурчин[267]...

— Как же нам поступить теперь? — перебил Крутолобов нетерпеливо.

— Первоначала мой вам совет: надо втравить в дело, чтоб позарился снова на охоту: за это я возьмусь. Есть у вас волки?

— Есть. На Бирихинской степи, в логах, видаем часто.

— Ладно! Так вы оставьте тут товарища: я поеду с ним, огляжу места. А завтра, вернувшись, и доложу ему, что волков сила. Он волков травить страсть любит! Лисица ему нипочем.

— Ну-с?...

— Дескать, «ваше сиятельство, чем в даль забиваться, потравим лучше тут: места, мол, сподручны и бег на чистоту». Уж это мое дело подзарить господ.

— Ну-с?...

— А вы тем временем скачите... Кто там у вас старшой теперь, наместо управляющего?

— Конторщик Клевалов.

— Ладно! Ну, так вам с ним толковать будет сподручно. Дескать, так и так: дело не без опаски, так пусть явится с повинной сам: дескать, к вашему сиятельству, узнал, мол, то и то... наши, мол, объездные отказали вам в охоте; наказ, мол, дан им строгий насчет мужика, чтоб не шлялись с дудками по степи да заразной скотины не вгоняли, а насчет вас, дескать, приказ у них словесный, чтоб дворянскому званию проезд на степь был невозбранен, а я, дескать, объездчиков накажу, а дистанчного сменю, за то, что осмелились, мол, вас, как я слышал, задержать. Так, мол, коли нашему сиятельству угодно, я, мол, предоставлю знающих людей, чтоб указывали, где есть волки. На волков напирай больше: лисица ему нипочем. Слышь?

— Слышу. Это уж будьте покойны. Знаем, как сказать.

— Ну, а я в ту пору вернусь со степи да подзужу их всех: дескать, зверя страсть! Волки и лисицы табунами ходят... Только б нам затянуть их в степь да на первый раз пооблакомить, чтоб не пустым местом, а там...

— Что ж, мне ехать? — спросил торопливо

Крутолобой, озадаченный изобретательностью своего советчика и покровителя.

— Сейчас и поезжайте, чтоб поутру, как вернусь со степи, был от вас кто-нибудь налицо вот с таким делом, как я толковал.

— Ну, а капканы как?

— Об них погодить надо. Только б нам господ вот залучить в степь да зверя разыскать побольше, — они и об себе забудут. А то еще капканы! Капканы не уйдут от нас.

— Хорошо! Дай бог вам здоровья! Так я поскочу, а объездному дам приказ, чтоб остался тут да ехал с вами показывать места.

— Ладно!

Так расстались эти состязатели. Неизвестно, кто из них считал себя победителем и кто был довольнее собой, потому что ловчий наш, проверивши снова полученную сумму, призадумался, почесал голову и сердито сунул пачку в карман.

Наши господа только ахали и пожимали плечами, выслушивая от нас подробное донесение о подвиге ловчего. Многое, о чем мы говорили без прикрас и прибавлений, было до того ново и невообразимо для всей честной

компании, что нас постоянно встречали возражениями: «Нет! Не может быть!» — и прочее. Один Алеев молчал и только в конце разговора прибавил:

— Так он еще сорвал с них и контрибуцию [268]! Признаюсь, этого я не ожидал, хоть и был уверен еще со вчерашнего с ним свидания, что мы будем атукать [269] в графской. Я сильно надеялся на благоприятный исход дела именно потому, что он так упорно не соглашался с нами. Чтоб проверить справедливость моих слов и то, насколько я изучил этого человека, заметьте, что теперь, после такого блистательного успеха, он будет непременно зол, недоступен и недоволен собой. Первая личность, которая должна будет пострадать, — это его любимец Пашка. Он непременно привяжется к мальчику за какую-нибудь малость и отдует арапником или, по крайней мере, даст ему две-три затрецины, хотя завтра же подарит ему десять или двадцать рублей на подметки.

Мы условились хранить наше наушничество в тайне от Феопена. Людям, бывшим при нас, и тем охотникам, которым было известно

наше переодеванье, было настрого приказано молчать.

Часу в первом Феопен Иванович вошел к нам.

— Что скажешь хорошего? — начал Алеев.

— Да што?... Ничево-с!

У Феопена Ивановича физиономия была крайне нерадостная, как будто он был кем-нибудь обижен.

— Ты что-то не в духе. Не случилось ли чего там у тебя?

— Да што... За чем сам не приглядишь, того и жди, что случится. Собаки было подрались. Пашку пощипал маненько. Малый лядащий.

— Ну, так! Что ж ты нам не скажешь, на чем кончились твои переговоры? Пустят ли нас в степь?

— Как не пустить — должно быть, пустят. Я пришел доложить: прикажите кому из борзятников побыть на два покорма при гончих, в подмогу Сергею, а я отлучусь. Пашутку тож возьму с собой: не пришлось бы где перевыть. А тут на случай завтра, до меня, придут к вам насчет капканов, так отдавать надо пого-

дить.

— Хорошо! Назначь, кого там знаешь.

— Слушаю!

На другой день рано поутру прибыл конторщик Клевалов. Рассчитывая время, надо думать, что он поднялся в путь с полночи и не жалел лошадей. Приехал он на тройке в одном из тех рессорных экипажей, которым теперь уже нет названия, и которые у богатых помещиков определяются для привоза и отвоза докторов и приказных. Любой мужик при встрече с подобным экипажем, сворачивая с колеи, непременно скажет: «Дохтура тащат!» — или: «Прут стракулиста[270]». Но не в том дело. Новоприбывший был не чета этим блюстителям здравия и благочиния. По наружности он казался настоящим барином. Ростом он был высок и красив собой, с приличным брюшком, уважительной осанкой и во все не лакейскими приемами. Енотовая его шуба и бархатный осенний картуз не посрамили бы головы и плеч не только судейских, но даже и предводительских. Черная фрачная пара с атласной жилеткой и золотой цепочкой от часов так, кажется, и просились в го-

стиную к любому степному помещику.

Отправясь по указанию охотников для свидания с графским камердинером, он с любопытством осматривал сворных собак, которые были при охотниках или попадались ему на пути. Не менее прилично и с достоинством встретил его и Артамон Никитич, которому доложили о приезде графского **управляюще-го**. Камердинер Атукаева вышел по-утреннему, в шелковом халате. Объяснившись, они пожали друг другу руки и отправились к Артамону Никитичу, как оказалось, кушать чай, потому что вскоре один из людей понес туда на серебряном подносе чайный прибор с лимоном, сливками, ромом и сухариками в серебряной корзине. Напоивши своего гостя чаем, Артамон Никитич, уже одетый, вышел с ним на двор и начал ему показывать сворных — барских и охотничьих собак. Клевалов любовался всем и делал очень дельные замечания, доказывавшие, что он хорошо понимает охотничье дело. К девяти часам вернулся Феопен: он прибыл со степи в обществе Пашки и дистанчного. Конторщик тотчас изъявил желание осмотреть гончих и пошел с

дистаночным к ловчему. Неизвестно, какого рода разговоры шли там, потому что осмотр стаи продолжался вплоть до десяти часов, после чего Феопен вошел с докладом, что управляющий конторою графини Отакойто прибыл к его сиятельству.

— Что ему нужно от меня? — спросил граф.

— А кто ж его знает? Должно быть, пардону, что ли, запросит.

— Ну, зови!

На этот раз граф, уже настоящий, а не подставной, отнесся к нему с речью, вначале короткой сухой, а впоследствии очень ласковой и даже приветливой.

Нет надобности повторять, с каким искусством приличный во всем и до крайности почитительный Клевалов выразил свое сожаление о сделанной нам неприятности. Ко всему, что было уже продиктовано Феопеном, и что мы знали наперед, он прибавил от себя только один лишний пункт: предъявил, что он отодрал розгами одного из конторских писарей, который дерзнул в его отсутствие написать Афанасию записку, не имея на то ни от кого приказания. Вслед за тем он очень уни-

женно заявил нам о цели своего прибытия и приглашал нас поохотиться на степи. Одним словом, все, даже то, чего никогда не пришло бы нам в голову требовать, было предлагаемо к нашим услугам.

— Вашему сиятельству, я полагаю, будет далеконько всякий раз ехать отсюда, — заключил он, получа согласие и благодарность от графа, — а потому не прикажете ли приготовить для вас стоянку в прасольских[271] хуторах? Там для вас помещенье будет и опрятнее, и удобнее, и ближе к местам. Мы с вас за квартиру недорого возьмем, — прибавил он с приличною улыбкой, — разве только что дозволите и нам взглянуть на такую отличную охоту. Признаюсь, я подобной не видывал!

— Прекрасно! — ответил граф. — Очень благодарен тебе за эту мысль. Мы постоим пока тут, а там, если в самом деле переходы покажутся велики, пожалуй, переселимся и поближе. Надеюсь, что ваши объездные останутся довольны нами. А тебе вперед наше общее спасибо за это предложение.

— Помилуйте, ваше сиятельство! Я очень счастлив, что имел честь сделать что-нибудь,

для вас удобное. Дистаночному я прикажу быть при вас безотлучно или оставлять знающего человека для указания мест, и, если что встретится для вашего сиятельства вперед, извольте от него требовать. Затем счастливо оставаться!

— Надеюсь, что мы еще увидимся, — заключил граф очень любезно.

Приличный и подобострастный правитель конторы ее сиятельства изволил раскланяться на все стороны. О крестной маменьке и «грабеже» капканов не было и помина. Как видно, была во всем мудрая воля распорядителя и устроителя этого необыкновенного свидания!

— Я вас приглашаю, господа, любого, взяться устроить это дело так, как оно теперь есть, — сказал Атукаев, когда мы остались одни.

— Феопена сюда, Феопена! — крикнули мы, как кричат из партера при вызовах любимых актеров, и при появлении ловчего разразился страшный гром рукоплескания и восторженное «браво!».

— Ну, Феопен, удивил ты нас своей смет-

кой, — сказал граф, подходя к ловчему с серебряным кушаком[272] в руке. — Прими это от меня и носи на память о своем удальстве, а это тебе на табак за труд и усердие.

Атукаев подал Феопену кушак и пятьдесят рублей. По примеру графа, Алеев и мы все одарили Феопена щедро.

— Молодец, молодец! — вторили все. — Ты обделал это дело так, как никому бы из нас не пришло бы в голову!

— Да што... Ничево-с... — многое говорилось в этом роде с целью повыпытать у Феопена больше того, что было уже нам известно, но ответом было постоянное «ничево-с» или что-нибудь в роде этом.

— Однако ж мне жаль бедного дистаночного, — заметил под конец Алеев. — Ты с ним поступил беспощадно: можно было его помиловать. Это, брат, грешно!

— Помилуйте, сударь, как же мне с ним поступить-то?

— Ну, все-таки полегче. Я ведь знаю: ты с него сорвал-таки порядком! — добавил Алеев серьезным тоном.

— Это вам так кажется... А я тут, можно

сказать, большие убытки понес! Они моли Бога, что на дурака попали... другой на моем месте их не так бы взогрел! А мне куда с ними возжаться? Народ речистый, ловкий... они таких, как я, десятками покупают и продают. А греха тут, воля ваша, нет! — Феопен призадумался, потом как будто отвечал на свой собственный вопрос: — Тут, знамо дело, кто кого надул, тот и прав.

— Однако ж ты мог кончить дело и без надувательства.

— Хм!... Какой бы я был человек такой? В те поры я себя должен перед народом на смех пустить: дескать, линию-то он подвел, а колена и не выкинул! Нет, вы наших русских коренных обычаев не изволите знать! Тут, выходит, кто кого поддел половчей, тому и почет, тот и человек есть!... Они-то сами на чем стоят? Что тут, выходит, народа округ их плакущего — страсть! Теперь забрали такую силу, — кто ни подвернись, привяжутся ни к чему, облупят, как липку, и суда не ищи. Ни пеший, ни конный не попадайся. Вот, авчера сцапали мужичка, ехал степью, журавля вез. Что ж? Дай не дай десять рублей: «Дичи, — го-

ворят, — стрелять не велено»... Бился, бился, сердечный, на семи целковых порешил, и то еще сказал спасибо... Вот они каковы, грабители! Жалей их! Нет, вы изволите судить по-своему, а я мекаю так, что я убытку много понес! Затем грамоте мало обучен, сметки нет настоящей. Какие мы люди!

Против этих аргументов всякое возражение было напрасно. Учите хромого плясать. Уверьте русского человека, что «поддеть и надуть» не должен он считать своей гражданской доблестью... О, наши заветные, коренные, кровные глаголы, непереводимые, не применимые ни к чему заморскому, немецкому!... Широка ваш смысл!... Да немцу и не понять его: провалится!

— Когда ж мы начнем порскать? — спросил граф.

— А чего ж будем годить? Завтра, я мекаю так, что нам взять Синие кусты. Собаки скучат[273], попрошиваются. Выступим попоздней, сделаем кольцо короткое, затем сразу как бы не осадить, — рассошатся, жирны, залежались.

— А не свалить ли нам обе стаи? — доба-

вил Алеев.

— И то не худо. Место разлетистое, кочкарник, гоньба полазистая[274]. Выжлятам же теперь только что работу давай: в две стаи гаркнем на радостях так, что ковыль задрожит!

И Феопен Иванович как будто забыл о том, что он понес «большие убытки»: он изволил улыбнуться и пожелал нам «счастливо оставаться!».

Остаток дня и большая часть ночи прошли в шумных толках, и заманчивых предположениях насчет будущей потехи.

Все вокруг нас задвигалось и засуетилось. Охотники тоже глянули веселее. К вечеру они сами собой составили хор. Давно уже не слышанные нами песни и пляска длились у них до полуночи.

Чтоб судить об увлечениях псового охотника, надобно видеть его во время его сборов на «Патрикевну».

VIII

Два слова о том, что дороже для псового охотника. — Степь. — Сурчины. — Вид острова. — Расстановка. — Свальная стая. — Новый род смерти, изобретенный Фунтиком. — Первое поле.

Прежде нежели поставим ногу в стремя и потправимся в то место, к которому мы доискивались доступа с таким трудом и тревогой, я считаю обязанностью хоть слегка объяснить для незнающих причину, почему псовый, наторевший в своем деле охотник травлю лисиц предпочитает всякой другой потехе. Спросите у любого, только опытного и втравленного борзятника или, лучше, предложите ему право выбора и спросите потом, кого он желает травить: волка или лисицу? «Лисицу, подавай лисицу!» — крикнет он испуленно и поскачет неведь куда, обречет себя на труд, едва выносимый, на разнородные лишения для того только, чтоб добыть и затравить Патрикевну[275]!

За что ж такое сильное предпочтение этой всемирной кумушке, у которой нет даже настоящего бега, потому что самая тупая из борзых собак на чистоте не даст ей хода, а собака резвая не отпустит лису дальше того расстояния, на каком «зазрела».

Ум, хитрость, находчивость, изворотливость, сметливость и необыкновенное умение в минуту неизбежной гибели пользоваться самыми ничтожными средствами и случаями и с помощью их, в глазах своего грозного преследователя, извернуться, обмануть, проскользнуть, как ртуть, между пальцами, и исчезнуть, как дым от ветра, — вот качества этого проворного и увертливого зверька, которым так дорожит псовый охотник. Зато с каким одушевлением и энергией будет он рассказывать, пожалуй, ночь напролет о тех редких случаях и проделках, какие выделяла с ним Патрикевна: все моменты гоньбы и травли, все эволюции и увертки хитрого зверька будут передаваемы им с таким одушевлением и увлечением, что вам многое покажется вымыслом и едва ли вероятным делом.

А гоньба по лисице чего стоит! Та же самая стая, которая помкнула по волку и в мгновение ока поставила серого на ваш лаз, или, обогнувши два-три раза остров, вынесла на **щипце** беляка к вашим ногам, — та же стая, уже усталая и подбитая, натекла на лисий след, и вы слышите другие голоса, чувствуется что-то особенное в помычке выжлят, что-то более дружное, жадное, свирепое в гоньбе всей стаи. Волк при первом звуке охотничьего рога, при малейшем признаке опасности мчится из острова напрямик и потому держит на себе стаю недолго, особенно если его застигли в острове не при гнезде; гоньба по волку не менее заркая и злобная, как и по лисице, но быстрота скачки первого и прямое направление, избираемое им большей частью случайно и напролом, невзирая ни на какие встречи и препятствия, не всегда дает возможность гончим «скучиться» и гнать стайно. Заяц, преимущественно беляк, имеет в характере «давать круги» и бить собак на одном месте и потому выдерживает более стайную и продолжительную гоньбу, но это кушанье и для собак, и для охотника обыденное, буднич-

ное; другое дело — лиса.

Застигнутая врасплох на том месте, где она задумала позавтракать вкусной зайчатинной или полакомиться тетерью, лисица не вдруг, не сразу пустится на утек; она очень хорошо знает, что за всякий необдуманый шаг вперед или назад, за всякое движение на **авось** она непременно поплатится своей красивой и теплой шкуркой, без которой ей остаться невозможно, и потому Патрикеевна начнет с искренней заботливостью хлопотать о сбережении этой собственности: наделав сметок и узлов посреди острова, прежде нежели горластый ловчий успел накликать, а проворные выжлятники подбить стаю на ее горячий след, смышленная кумушка успела уже побывать на опушке и навести справки о возможности улепетнуть из острова без большого шума и огласки, но — увы! — все надежный пути для нее пресечены, все лучшие и удобнейшие места на пролаз грозят засадой и гибелью; между тем стая верной тропой натекает, близится, не дает Патрикеевне ни свободнодохнуть, ни хорошенько поразмыслить, на что ей решиться. Отысканная и под-

буженная[276], она мчится на другой конец острова, ныряет под крайний куст и зорко оглядывает и соразмеряет возможность на утек, но и тут ей предстоит опасность горше прежней: везде, где бы не следовало быть, словно выросли из земли и торчат недвижимо зоркие борзятники, а подле них, насторожа уши, сидят на корточках резвоногие борзые; с этими последними Патрикеевна не желает встретиться даже и во сне, не только наяву и среди чистого поля. Как быть? Дело, куда ни поверни, выходит дрянь! Осталось одно: обмануть неотвязную ораву и пробраться низиной в камыши... и вот она ринулась прямо в собак, собрала всю стаю и поволокла ее за хвостом в глубь острова, вильнула направо, налево, разметала собак, скрала след[277] и тишком, бочком, чуть дыша, где ползком, где скачком, добралась до желанных камышей, но и тут к Патрикеевне счастье обернулось спиной: проход в камыши забран предательской стенкой из тенет, а по крылам стоят грозные тенетчики, кто с ружьем, кто с дубинкой... а собаки сзади свирепеют, ревут, словно повешенные за язык, ведут верно,

близятся... и Патрикевна снова мчится вдоль острова, снова скрадывает след, и снова бочком, тишком прокралась она мимо всей стаи к ручью; тут, наделавши новых петель, она, на свободе, побрела по течению воды, обыскала местечко поглубже и поглуше, опустилась в воду с ушами и, выставя кончик носа наружу, молча любуется, как свирепая стая, примчавшись с гиком к берегу, остановилась, смолкла, рассыпалась и с жалобным визгом кружит на одном месте и ищет пропавшего следа... Но и тут бедной затейнице суждено недолго наслаждаться плодом своего проворства и хитрости. С пеной у рта, с глазами навывкате, горланя хриплым голосом и поталкивая каблуками усталого коня, примчался ловчий к тому месту, где гончие «стеряли след»: он подсвистывает измученным выжлятам, кружит по месту и зорко высматривает, куда **понорилась**[278] **лиса**, но ни тут, ни около норы не видно... Безотвязный и опытный охотник останавливает коня и, оглянув местность, спускается в ручей, мутит, буравит и пенит воду, ближе и ближе... и вот, встряхиваясь и кой-как оправляясь на пути, Патри-

кевна опять волочит за мокрым хвостом озлобленную стаю, а ловчий трубит позыв по «красному». Тут только началась самая кипучая и безотвязная гоньба; стая «варит», не покидая следа... лисица пошла «опушничать и вывертываться на чистоту»; охотники глядят на нее и стоят словно деревянные: с этими расправа плоха! А вот один из них приглянулся Патрикееву. Он жадно смотрит на нее, нетерпеливо оправляется в седле, бодрит коня, осаживает свору... «Этот по мне!» — думает Патрикеев и, отведя стаю далеко в другой конец острова, примчалась на опушку и бежит прямо к ногам горячего охотника... Вот он дрогнул всем телом, не выдержал, собаки рванулись, свора свистнула, и в тот же миг Патрикеев, увлекая пылких борзых, мчится назад в остров и падает под первый куст: собаки юркнули мимо, разметались, ищут, мечутся в стаю, а Патрикеев тем временем, одинокая, свободная, без препон и помехи, напрягая последние силы, катится как червонец по темному грунту чернозема. Бедный борзятник скачет за ней сломя голову, кричит, хлопает, накликает с плачем пополам

пропавших собак, а смышленица летит, как пух по ветру, все дальше и дальше... Вот и борзые вынеслись из острова, за ними прорвалась и вся стая. Отчаянный охотник, проводив лису возвращается назад и, проклиная судьбу свою, начинает сбивать гончих... К нему навстречу несется ловчий, с бранью и проклятиями. «Галок тут считаете!» — кричит он еще издали, и пошли упреки и доказательства со всеми возможными прибаутками такого рода и склада, что, со стороны слушая, поневоле скажешь: мастер русский человек браниться! А Патрикевна тем временем давно уже полизывает свои уставшие лапки и, лежа на боку, думает... а что такое думает она, — тут присочинить трудновато!

Вот почему дорога охотнику лисица: она кипятит в нем кровь, **протирает** ему глаза, то есть учит его проворству, ловкости, сметливости, тонкому соображению.

Поедем же травить лисиц!

Пробудились мы с рассветом дня; никому не хотелось спать, несмотря на то, что у охотников песни, а у нас рассказы длились далеко за полночь. День, словно на заказ, выдался

самый охотничий: вначале туман до того густой, что в десяти шагах нельзя было видеть ровно ничего; часа через два туман исчез, сплошная беловатая полоса закрыла небо и повисла шатром над всей окрестностью; в воздухе было тепло, влажно и тихо, что так необходимо и благотельно для иска и выслушивания гончих. К десяти часам люди успели позавтракать и собрались на выгоне, каждый со своей сворой; покуривая коротенькие трубочки, охотники мало, по обыкновению, занимались шутками и остротами, потому что каждый был крайне озабочен своими собаками; с борзыми решительно не было слада: отлежавшись при сытном корме и почуяв время своей потехи, они с радостным визгом кидались на грудь к охотникам, вылизывали морды у своих лошадей, прыгали и бесновались так, что тут и жди общей свалки и грызни насмерть. Чтоб судить о заманчивости охотничьего дела, надо взглянуть попристальнее на ту оживленную картину, когда псовые охотники, окруженные сворными собаками, выводят из стойла оседланных лошадей.

Оба ловчие с своими стаями присоединились к группе борзятников; мы сели на лошадей и тронулись в путь.

Мы подъехали к запретному столбу: Синие кусты, бывшие в виду у нас со времени выступления из хуторов, теперь открылись явственнее и становились выше: это была продолговатая голубая куца, охваченная отовсюду ровной линией степи; глядя на эту отдельную полосу редкого осинового леса, которая и летом и зимой синеет на горизонте, не мудрено догадаться, отчего она носит название Синих кустов. Во всякое время они служат вроде маяка для проезжающих по степи.

Недалеко от столба нам попались навстречу дистаночный и его неразлучный товарищ: они поспешили к нам на рысях; снявши издалека шапку, дистаночный подъехал к Алееву.

— Вашему сиятельству не угодно ли будет травить волков? Мы сейчас двух перевидели; должно быть, остановятся и залягут в широком логу, — сказал он, приняв по-прежнему Алеева за графа.

— Ты, любезный, с этим отнесись к гра-

фу, — отвечал тот с улыбкой, — а мне пора уже потускнеть; я бываю в сиянии только при случае и на короткий срок. Вон он, граф, впереди, направо; ступай к нему. Граф! К тебе вот, с докладом! — крикнул Алеев.

Атукаев приостановил свою лошадь; Крутолобов прыгнул с седла и подбежал к его сиятельству пешком; мы проехали мимо и не слышали, о чем у них была речь. После этого дистанционный остался и с непритворным удовольствием смотрел на нашу потеху.

Несмотря на то, что Синие кусты, как казалось, были к нам очень близко, до них от графской межи по прямой линии считалось восемь верст; нам следовало проехать гораздо больше, потому что мы должны были огибать сору и в ином месте делали большой крюк, по сору мы не решались проезжать, потому что тут, наверное, могли подбудить несколько лисиц, и, без сомнения, увлекаясь травлей, не скоро бы дошли до определенного места.

На пути нам попадалось множество сурчин. Сурчины эти не что иное как небольшие курганчики, аршина в два вышиною и сажени полторы в диаметре, с тремя, четыремя и

более отнорками[279] наверху; на дальних постоянно свистали сурки, сидя на задних лапках; при нашем приближении они тотчас прятались в норы. От сурчины к сурчине были протоптаны узкие тропы, на которых не росла трава, признак постоянного сурочьего путешествия по ночам. Тут на тропах и возле отнорков ставят капканы, и, осторожные во всякое другое время, но крайне неуклюжие и неповоротливые, ночные путешественники попадают в них, потому что ходят постоянно одной дорожкой и ни за что не свернут в сторону.

Наконец мы очутились у острова. Боже мой, какое надежное место для зверя, если он захочет укрыться от зоркого глаза охотника или спастись от преследования! Десятин сто редкого осинового леса, состоящего из подрубей и отдельных куц, окаймили собой просторную ложбину или сухое болото с кочками и хворостом. Отсюда, во все стороны, в степь, выходят тонкими языками отвершки, или, лучше сказать, рытвины, по которым втекает вешняя вода, и, образовав во время весны что-то вроде озера, летом просыхает, и на

этом месте, где было озеро, остаются кочки, зарастающие резакон и другими болотными травами. Тут в летнее время кишат змеи, плодятся журавли и другая дичь, а к осени, когда болото подсохнет, оно наполняется лисицами, которые бегут сюда со степи «мышковать»[280]. Весь остров, с лесом, кочкарником и непродерным хворостняком, сквозь который удобно проползать только змеям, имел в ширину версты полторы и был почти круглый. Его со всех сторон охватывала бесконечная равнина степи, на которой, словно бородавки на теле, торчали в бесчисленном множестве сурчины, да кой-где раскиданные по горизонту скирды сена.

Чтоб разыскать и выжить отсюда зверя, особенно лисицу, надо иметь стаю не в десять или двадцать собак, а именно стаю такую, какую мы подвели теперь к Синим кустам: у нас было налицо сто восемь паратых лучшей породы собак, и из них почти половина таких зверогонов, из которых каждая могла быть вожаком и править стаей. Вдобавок ко всему правителями этой свальной, едва ли виданной кем-нибудь из охотников, стаи были две

такие личности, как Феопен Иванович и Игнат Савельич. Один, с вечно затаенной мыслью, холодно, в полглаза, глядел нивесть куда; другой пытливо и зорко оглядывал местность: он понимал всю трудность предстоявшего дела и соображал заранее, как его вести.

— Зачем эти господа суются в подобные места? — сказал граф, когда мы остановились в виду острова и подъехали к ловчим, — Здесь был Жигунов с компанией, и они хотели брать Синие кусты. Сколько у них на спуску?

— Своя стая шестнадцать собак да понабрали кой у кого смычка четыре, — отвечал ловчий Игнат.

— Зато все багряные, глебовские, по чухонским[281] русакам нагоняны, а беяка с рожками хоть из хлева, а добудут! — прибавил Феопен с обыкновенною флегмой.

Все громко засмеялись, услышав такую едкую насмешку.

— Что ж, велите разъезжаться: время нисколько, — заключил он, слезая с лошади.

— Откуда думаете заводить? — спросил Алеев.

— А что тут заводить! Метнул с поля, на ду-
хах, откуда ни ворвались — работа будет. Ме-
сто, видите, какое...

Борзятники разделились на две половины
и поехали на рысях занимать места. Немало
было споров и перебранки у тех, которые ста-
рались захватить места в голове рытвин, иду-
щих из острова; остальные протянулись ли-
нией по чистой степи; цепь эта отстояла от
острова почти на версту, и охотник от охот-
ника были расположены саженьях в двухстах.
Бацов, с Караем и другими двумя собаками
его своры, поместился в голове узенькой ло-
щины с редкими кустиками; подле него уста-
вился мой бессменный стремянный — Егор. Я
и Владимирец как праздные зрители остава-
лись пока при стае.

Разомкнутые гончие сидели в тесном кру-
гу, жадно поглядывали на остров и взвизгива-
ли от нетерпения. Наконец Пашутка донес
своему дядюшке, что охотники на местах.
Сдавши верхние кафтаны в торока, оба лов-
чие, в легких куртках, с рогами за плечами,
пошли к острову; тут надобно было слышать
этот жалобный писк и вой всей стаи, из кото-

рой, однако же, ни одна собака не смела ступить шага вперед. Выдержка удивительная! Но вот свисток — и обе стаи ринулись с гиком, рассыпались по опушке и смолкли; выжлятники, разделяясь на две руки, по трое поскакали туда ж и начали порскать. Вначале был слышен только один шелест опавшего листа в том месте, где шарили собаки, да редкое взвизгивание нетерпеливых ищеек, потом одна помкнула и залилась. «Вались! К нему!» — крикнули ей вслед два человеческих голоса, и несколько новых собачьих голосов мигом подравнялись к пискунье и **повели зверя**; минуту спустя взревела вся стая, и в острове закипел ад... Слушая этот ожесточенный рев и стон, становилось страшно: подобной гоньбы ни прежде, ни после этого единственного случая я не слыхивал. Я повернул коня, отъехал далеко в поле, шагом окружил всю линию охотников (конечно, с тыла, потому что проезжать перед носом охотника, стоящего на лазу, во время гоньбы было бы невежеством); все они, даже лошади стояли недвижимо, словно замороженные.

Смотрите на дилетанта, увлеченного

стройным, систематическим, разумным порядком волнующих его звуков; следите за приливом и отливом его страстного увлечения этими гармоническими струями... Он глядит как-то торжественно и, умиленный, увлеченный, убаюканный чарующими мотивами едва слышно стучит в такт ногой, объясняет себя страстным взглядом, нетерпеливым движением... Не таков образ охотника, отуманенного зыком паратой стаи, — это немой, окаменелый человек: одни полураскрытые, дрожащие губы да глаза, жадно устремленные на один дорогой для них пункт, дают знать, что это еще живой человек. А вот дикие, неистовые крики слились и покатались одной волной; чуткое ухо доносит охотнику, что зверь пошел «прямика», стая ведет к нему... О, тогда не смотрите охотнику в глаза: вам будет и жалко и страшно следить за этими муками в человеке, у которого сперлось дыхание, остановилась кровь...

Я подъехал и стал за спиной у Бацова; гоньба в острове в это время дошла до крайнего предела озлобления и неистовства. Слушая отсюда этот оглушительный рев и завыв-

ванье, казалось, будто весь остров, с его кущами, зарослью и кочкарником, сорвался с места, кружится и стонет каким-то зловещим всесокрушающим стоном. Рог за рогом, порсканье и окрики выжлятников, подбивавших в стаю, слились в одну нераздельную, неумолкающую ноту.

— Береги! — шепнул я Луке Лукичу, глядя, как лисица, отслушивая[282] гончих, «тыняла» между кустов, пробираясь лощинкой прямо к его ногам.

Горячий охотник не выдержал и, отдав не вовремя свору, понесся навстречу к лисе, но в тот миг, когда Карай и прочие собаки с нею встретились, Патрикевна «пала», собаки стогряча пронеслись, и она шмыгнула мимо моей лошади; я поскакал вслед за нею по степи, но — увы — пока Бацов успел справиться и показать ее собакам, плутовка была уже вблизи соседней сурчины и, не дождавшись Карая, успела понориться. Бледный и растерянный подскакал ко мне Лука Лукич; он проклинал и меня за появление не в пору, и себя за то, что родился не в пору на свет, и графиню, благополучно обитавшую в ту пору во

Флоренции, и, собрав на свору собак, снова стал на лазу.

Я подъехал к Егору, который тем временем успел уже второчить лисицу. Выжлятники то там, то сям выскакивали из острова сбивать прорвавшихся гончих; кой-где травили, вторачивали и подавали позов, что «зверь принят». Ловчие то и дело накликали своих послушных выжлят на новый след, и снова в острове закипала с большей силой и с большим остервенением дружная, свирепая, неотвязная гоньба. Вот и негодующий сосед мой отгокал и второчил лисицу, потом другую; я подъехал к нему снова и поздравил с удачным полем. Лука Лукич глянул на меня приветливее. Он уже не проклинал ни своей судьбы, ни отсутствующей графини, потому что в тороках у него красовались две матерые лисицы. Последним становилось в острове плохое житье; никакие хитрости и увертки не помогали бедняжкам, застигнутым врасплох на их сборном пункте; ни густая заросль, ни высокие кочки, между которыми они успевали на время скрадывать след и затруднять гоньбу, не служили уже для них убе-

жищем и защитой: то там, то сям оторопевшая Патрикеевна, не находя никаких новых средств к обману и уверткам, выносила из опушки прямо в пасть к борзым. Редкая из них в этом крайнем случае успевала обмануть бдительность охотника и увернуться от его своры, вся игра Патрикеевны оканчивалась все-таки тем, что она после всех ловких и грациозных уверток, через две-три минуты, туго притороченная за головку к задней луке, помахивала пушистым хвостом по кожаному потнику.

— Да что их тут у вас, садок[283], что ли? — спросил Лука Лукич, вторачивая с радостным лицом третью лисицу. Этот вопрос относился к дистанчному, который подъехал к нам на рысях. Он, кстати сказать, был сильно заинтересован всем виденным, особенно гоньба такой многочисленной и дружной стаи приводила его в восхищение. Прибыл же он к нам, как оказалось, с известием нерадостным. Вместо ответа на возглас Бацова он как-то торопливо проговорил:

— А там у вас мальчик задохся!

— Где? Что такое? Какой мальчик? Как за-

дохся? — заговорили мы в два голоса к вестнику.

— Да вон на той стороне мальчик, что на кавурой лошадке, попал в сурчину за лисицей, — отвечал он невразумительно.

Я поскакал на указанное место и вскоре на противоположной стороне степи, которая была скрыта от нас островом, на далеком расстоянии от места травли, подле сурчины, увидел небольшую группу людей: это были, как оказалось после, Стерлядкин, Владимирец, два охотника и зверообразный страж. Один из охотников поддерживал Фунтика. Мальчик сидел с посиневшим лицом, мотал болезненно головой и тупо глядел вперед: он был как будто в параличе. За неимением под рукой никаких медикаментов ему помачивали темя и виски вином.

На вопрос мой Стерлядкин и прочие объяснили мне, что все это значит.

Поместившись близ того места, откуда напускали гончих, Фунтик выждал на себя лисицу, По неопытности и сторяча он показал зверя не вовремя. Лисица пала, собаки скололись[284], и мальчик начал ее травить сте-

пью, скрылся из вида и вогнал лисицу в сурчину. Горячему охотнику показалось, что нора не глубока, и лисица близко; он протиснулся в сурчину с тем, чтоб вытащить лисицу за уши. Опустясь по пояс в нору, Фунтик закупорил ее как пробка и, не имея опоры под ногами, остался в положении человека, повешенного вниз головой. Он должен был погибнуть непременно, потому что подать ему помощь было некому: охотники стояли к полю спиной и не обращали внимания ни на что, происходившее вне острова. Объездчик, видевший, как и куда Фунтик травил лисицу, заподозрил его долгое отсутствие и отправился наводить справки. Увидевши «беду неминуемую», он поскакал назад и кликнул охотников, которые и вынули мальчика из сурчины в беспомощности и с посиневшим лицом.

Наконец Фунтика кое-как оттерли: он получил дар слова и кучу наставлений, угроз и предостережений, и мы вернулись к острову. Там по-прежнему шла самая свирепая гоньба: управляемые такими мастерами, как Феопен Иванович и его товарищ, и подстрекаемые их проворными помощниками, собаки «лезли из

кожи» и выносили зверя **на щипце**; то там, то сям борзятники травили и вторачивали лисиц; казалось, что эта гоньба травля должны были продлиться до ночи, потому что лисиц в острове, судя по помычке гончих, было еще много, но ловчие вдруг загудели в рога и пошли к опушке, а выжлятники ринулись в середину острова и начала сбивать собак со следа. Надо было щадить и сберегать усердных ищеек, которые сторяча могли догоняться до изнеможения. Борзятники, несмотря на поданный сигнал долго не оставляли своих мест, потому что гончие, подваливаясь на рог ловчего, поминутно натекали на зверя и гнали зарко: более получаса ловчие гудели в рог, стоя близ опушки; собаки валились из острова неохотно. Наконец борзятники собрались: у редкого из них не было двух или трех лисиц в тороках; всех было взято из острова сорок три лисицы, сверх того Игнат Савельич вынес оттуда замятого гончими барсука.

Поздравив друг друга с первым и таким удачным полем, мы сдали верховых лошадей стремянным, сели в линейку, в которой прибыл за нами Петрунчик, посадили с собой

Фунтика и резкой рысью поехали домой. Охотники с песнями прибыли спустя час. Боже мой, чего не наслушался я, сидя вечером за стаканом чая! Борзятники входили к нам попарно и по трое и со всеми подробностями рассказывали каждый о своем подвиге.

На другой день мы намеревались брать со-ры и легли спать ранее обыкновенного.

IX

***Езда по сорам. — Травля оборот-
ня. — Перемена квартир. — Мога-
рыч. — Учитель-сочинитель. — Заня-
тие, порождающее тоску и дремо-
ту. — Опять Синие кусты. — Смерть
Фунтика. — Отъезд.***

На другой день дистанционный получил свои Накапканы в виде награды за спасение Фунтика от верной смерти, а этот спасенный простоял около получаса на коленях, выпрашивая себе позволение отправиться с нами на охоту. Стерлядкин долго не соглашался, и наконец, как бы в силу общего нашего представительства, после острастки и предостереже-

ния на будущее время изъявил свое согласие. Увы, кто из нас мог предугадать, что этот проворный мальчик, получивший такое пристрастие к охотничьему делу, придумает для себя такой род смерти, от которого ни одному из старых и опытных охотников не пришло на мысль его предостеречь?

Мы собрались и выступили ранее вчерашнего. С этого дня ловчие начали чередоваться со стаями, и мы вышли с Игнатом. Езда по ссорам мне очень понравилась. Тут, на плоской и открытой местности, сидя верхом на лошади, легко было следить за движением ловчего со стаей и за успехом травли на всех пунктах. Подъезжая к ссорам, которые большею частью состояли из продолговатых четырехугольников, содержавших под собою десятин двадцать-тридцать поднятой плугом степи, борзятники делились на две половины: те, которым приходилось стоять в голове острова, заравнивались на рысях и становились на места, к ним примыкали остальные, и таким образом составлялась неразрывная цепь; тут ловчий вводил стаю, и начиналось порсканье; собака рассыпавшись по бурьяну, тотчас

причуивали след, шли в добор и натекали на лисицу, которая по обыкновению, видя беду неминуемую, старалась вначале притаиться где-нибудь под глыбой земли или в густом бурьяне, но эта утайка вообще длилась недолго, и волею-неволею Патрикевна должна была пускаться на утек. Редкая заросль мало способствовала отчаянным беглянкам к обманам и укрывательству; отыскавши однажды зверя по следу стая вела верно и без отрыва, почти всегда «назряч», и лисица непременно выбежала на кого-нибудь из борзятников, где уже редкая из них успевала смастерить какую-нибудь штучку. Бывали, однако ж, случаи, что и тут, при всей наметанности собак и мастерстве охотников, этот хитрый зверек проскользал, как говорится, между пальцев и уносил на плечах нетронутую шкурку, оставя своих преследователей в недоумении и досаде. Фунтик был первым представителем такой неудачи; единственную лисицу, на которую после долгих ожиданий удалось ему спустить свою свору, он втравил обратно в соры, где разметав собак, Патрикевна вернулась к Фунтику под лошадь и на свободе, сопровождаемая

неистовым криком и одиноким преследованием мальчика, скрылась степью из вида. С Бацовым на другой день повторился тот же случай: гончие вывели лисицу к его ногам. Собаки не успели заловить ее сразу, разъехались, пронеслись, и лисица юркнула в круговину, состоявшую из кочек, заросших густой травой, запала там и, выждав минуту, когда борзые в напрасном иске разметались в стороны, вернулась под лошадь к Бацову и исчезла в сорах. Подобные проделки повторялись и с другими доезжачими, ежедневно, но, кроме этих обыкновенных и хорошо всем известных случаев, бывало несколько таких, которые ставили в тупик самых опытных и знающих охотников.

Отъездивши в три дня места вокруг Козиhi и Синих кустов, мы, по совету дистанчного, брали пятое поле в так называемом Бурихинском участке, верстах в пятнадцати от места нашей стоянки. Тут не было вовсе соров; обрысканные нами в первые дни, они тянулись теперь далеко от нас налево, охватив горизонт тонкой черной полоской; зато перед глазами у нас ширилась эта степь, сохранив-

шая свою первосозданную девственную физиономию: тишь, простор, безлюдье, пустыня — кругом! Редкие сурчины, с их флегматическими обитателями, стада белогрудых дудаков да эти, порождающие какое-то тоскливое чувство, журавлиные голоса в глубоком небе — вот единственные представители течения тут какой-то робкой, чахлой, разъединенной жизни. Прощедши напрямиком в глубь этой пустыни, мы очутились в лосках[285]. Для скопления в летнее время воды на пойло быков прасолы перепружают их узкими плотинами, отчего образовались небольшие прудки, а верховья их зарастают сплошным камышом, который тянется узкими гривами в разные стороны по дну лощин. Тут, переходя со стаей из лоска в лоск, Феопену Ивановичу предстояла забота тешить нас постоянной травлей. Лисиц нашлось множество но между ними попадались такие, которых охотники, не понимавшие настоящей причины, отнесли прямо к разряду заколдованных и, после двух-трех неудачных опытов, отказывались их преследовать, считая их, по свойственной русскому человеку вере в леших, за

оборотней и так далее, за что-то такое, к чему крещеному человеку прикасаться не следует. Первый опыт в этом темном деле выпал на долю старика Савелия; его быстроногая Красотка и другие сворные собаки были известны в охоте как приваленные, в особенности на лисиц, которых успел уже пощетить в графской больше десятка. Случалось так, что в виду всех охотников гончие вывели лисицу из камышей прямо к Савелию Трофимовичу; кругом его была открытая степь, без всяких перемычек, следовательно, лисицу надо было считать пойманною. Выждав зверя как следовало, старый охотник принялся его травить: собаки мигом dospели и сгоряча накрыли лисицу, но в то же мгновение отскочили прочь, и лисица, к удивлению всех, пошла наутек; собаки долго не давали ей хода, окружали, опережали ее, сбивали со следа; Савелий горячо атукал, догонял, топтал ее лошадью, натравливал и подзаривал собак; те снова за-скакивали лисицу вперед и с боков, но при-тронуться к ней не смела ни одна, как будто на звере вместо мягкой шерсти торчали иглы. Долго и с удивлением смотрели мы на старо-

го охотника, который атукал жалобным голо- сом и, кажется, плакал с досады, что его надежные собаки оплясывают и не берут зверя! Так скрылся он у нас из вида и, спустя время, вернулся к месту с пустыми тороками. Этот редкий случай, наверное, обратил бы внимание всех охотников и стал бы предметом самых вычурных толков, если б ему не было суждено повториться над самим Алеевым, еще до возвращения Савелия. Гончие, не перестававшие гаметь в камышах, вывели матерую лисицу прямо на Алексея Николаевича. Собаки его своры, из которых каждая способна была управиться с лисицей, как кошка с мышью, мигом накрыли зверя и как ошпаренные кипятком, отскочили от него прочь; освободясь от мялки, лисица, точно так же, как и у Савелия, пошла наутек и, словно заколдованная, скрылась из вида, не тронутая ни одной собакой. Но этим дело не кончилось: графский охотник Кондратий, у которого собаки были тоже надежные, точно так же проводил лисицу степью и вернулся назад ни с чем. Наконец выскочил из камышей четвертый оборотень, в образе такой лисицы, и по-

бежал прямо на Ваську, алеевского стремянного: знаменитый его Чернопегий пошел к ней навстречу впереди всех собак, и, глядя на этот самоуверенный прием втравленного волкодава, казалось что от бедной лисицы останутся одни клочья. Не тут-то было! Схватя с разлета лисицу за спину, он трепал ее сердито швырнул от себя в сторону и сам остановился на месте, как будто у него закружилась голова; прочие собаки, подоспев, накрыли беглянку снова и в тот же миг бросили ее; помятая и оторопевшая от двух таких ударов, лисица, чуть переваливаясь, вначале очень тихо, а потом шибче и шибче побежала степью; Васька, как видно было, рассвирепел от этой неудачи, а по-охотничьему — срамоты. Он помчался вслед за беглянкой и, натравливая ее собаками, которые, окружая и заскакивая вперед, не давали ей надлежащего хода, вскоре изловчился пристукнуть ее пулькой[286], полез с седла и начал вторачивать. Мы неотвязно смотрели на стремянного и ждали его возвращения, чтоб взглянуть поближе на того зверя, который не давался в зубы даже Чернопегому... Еще к большему

удивлению мы видели, что Васька, вместо того, чтоб, по обыкновению, сесть в седло и ехать к нам с триумфом, повел лошадь на чумбуре, распустив его во всю длину и вдобавок часто отмахивал ее от себя арапником, как видно, желая быть от нее подальше; собаки тоже рыскали далеко от лошади. Причина всего этого не замедли объясниться: от лисицы, наскоро и кой-как притороченной к седлу, разлило таким нестерпимым запахом, что под ветер нельзя было устоять от лошади в пяти шагах.

Собравшись в кучку и глядя на торока стремянного, мы долго рассуждали об этом новом для всех явлении; наконец Феопен Иванович выехал из лощины.

— Ну, ты что скажешь об этом? — спросили его в два голоса граф и Бацов, рассказав вначале о неудачной травле прежних лисиц.

— Что тут сказать? Дело, знамо: змеевка.

— Что за змеевка?

— А такая ж, что змей едят; тут, выходит, им вод. Я и по гоньбе смекнул, ведут, словно улицей закатывают! Да как и не причуять: вишь, смердотина какая! А я вам доложу, —

добавил ловчий, — что по лету их и травить нельзя: неравно даст хватку, собака распухнет, а чего доброго — и околеет. Из волков тож попадаются такие, что с голоду змей да ящериц похватывают; оттого разит так, что за версту не подступишь! Одначе пора на перевал: время нисколько, час третий, есть? — заключил Феопен.

Сергей и Пашка, вызывавшие в это время стаю из камышей, тронулись вперед и спустились в новую лощину; охотники, не нарушая прежнего порядка, заезжали и становились по местам. Тут некоторым из борзятников суждено было повторить уже виденное нами, и они возвратились домой с полной уверенностью, что им выпало на долю травить **оборотня**.

В это поле мы затравили девять лисиц всей охотой и вернулись на квартиру раньше обыкновенного, потому что наутро мы снимались с прежней стоянки и переходили для большего удобства в прасольские хутора. Обоз с тяжестями вышел на рассвете; мы с очередной стаей взяли на прощанье Козиху, где застали двух лисиц и одного, первый раз

встреченного нами, волка, которого, однако ж, пришлось травить в угон, и потому мы довольствовались только зрелищем настоящей волчьей скачки[287].

Прасольские хутора, куда мы прибыли, пройдя верст двенадцать степью и держась направо от Синих кустов, представили нам жизненных удобств больше, нежели прежняя стоянка, хотя мы на время должны были разъединить наших охотников. В одном из них поместился Феопен с частью общих тяжестей, далее стал Игнат со стаей и борзятниками, последний заняли мы всем обществом. Хутора эти были не что иное, как большого размера плотно срубленные две избы, соединенные просторными сенями; к этим жильям были пригорожены правильными четырехугольниками большие дворы с навесами, под которыми можно было поместить штук до тысячи рогатого скота, который откармливался в здешней степи для продовольствия наших столиц. Двор от двора были отодвинуты с лишком на версту для предупреждения всяких сообщений одного гурта с другим на случай заразы. Все три двора были располо-

жены по изгибам узкой лощины с ничтожным ручейком. Кругом нас была одна эта ровная, глубокая степь с сурчинами законченная всюду сероватым горизонтом, да в одном углу те же, нигде не отстававшие от нас, Синие кусты.

Первый день после первого ночлега на новом месте был определен на отдых. Пользуясь этим, Феопен Иванович просил заранее дозволить ему сделать охотничий праздник и поставить ребятам обещанный «могарыч». Отказа, конечно, быть не могло, и потому в хуторе, где он поместился со стаей, просторная двенадцатиаршинная изба была еще накануне как-то щеголевато обставлена, пол усыпан песком, который Бог весть откуда добыт в этом царстве глубокого чернозема. В одном углу стояло несколько древесных сучьев, разыгрывавших роль леса; тут же, то есть на краю леса, был поставлен простой стол, усыпанный густо золой; остальную пустоту занимали два длинных стола с обильным запасом разных напитков, закусок и с двумя кипевшими самоварами.

Часу в третьем мы отправились пешком

посмотреть на пирующих, а главное, послушать охотничьих песен, которые, надо сказать правду, наши охотники пели мастерски. Пир был в полном разгаре, когда мы появились среди их веселого общества. В избе, кроме песельников и людей, заведывавших хозяйственной частью пирушки, было мало пьющего народа. За столом, посыпанным золой, сидели оба ловчие, без кафтанов и с рогами за спиной; вокруг стола, в тесном кружку, стояли охотники, держа в обеих руках ложку. Не выдавший ни разу охотничьей пирушки, конечно, удивился бы, глядя на эту странную затею, но для нас это было не ново: дело в том, что ни одна почти охотничья песня не поется без того, чтоб тут не было отголоса стаи, а учащенное шмыганье ложками по столу, усыпанному золой, очень верно выражает гоньбу выжлят в острове, и мастера, умеющие сочетать звуки как должно с пятью-шестью парами деревянных ложек, произведут такой гам и писк, что, слушая издали, всякий примет его за гоньбу стаи, состоящей голосов из сорока. Когда мы вошли, запевало только что затянул:

Запевало:

Не пора ли нам, ребята,
Своих коников седлать?

Хор:

Гей, гей, рам-да-да!
Своих коников седлать!

Запевало:

Скакунов лихих седлать!
В чисто поле выезжать!

Хор:

Гей, гей, рам-да-да!
В чисто поле выезжать!

Запевало:

В чисто поле выезжать,
В остров гончих напускать.

Хор:

Гей, гей, рам-да-да!
В остров гончих напускать!

Запевало:

Ну-ка, ну-ка, запускай,

Проровняйся, запорскай!

Хор:

Гей, гей...

— И прочее.

Хор на время умолкает; ловчий трубит сначала в рог и начинает во весь голос порскасть и накликасть на горячий:

— Га-эй, собаченьки! По-ди, по-ди, в лес, в лес! Га-эй, поди, поровняйся... — и прочее.

Тут один из охотников начинает шмыгать сначала одной, потом двумя ложками, очень верно подражая голосу собаки, собаки, попавшей на след зверя, а ловчий с полным одушевлением подваливает стаю и накликает на горячий:

— Га-эй, дружки, чуй его, чуй! Га-эй, собаченьки, тут шел, тут бежали, натеки, дружки! Вались! К нему! У-а! Дошел! Дошел! — и тому подобное. Тем временем к первым двум ложкам постепенно присоединяются остальные; гоньба закипает, хор поет:

Запевало:

Чу, Камшило, чу, Громило!
К ним вся стая подвалила.

Хор:

Гей, гей, рам-да-да!

— И прочее.

Запевало:

Звонарю обидно стало
Как свалилася вся стая.

Хор:

Гей, гей...

Запевало:

Он по волку тут погнал.
Лихо гончих оборвал...

Тут в момент полного разгара гоньбы ловчий подаст в рог по красному и кричит: «Бе-реги в поля!»

Тем же порядком воображаемого зверя начинает травить кто-нибудь из борзятников, и если во время этой охотничьей оргии в числе слушателей есть кто-нибудь из охотников-господ, то хор тут же, именуя любимую

собаку его своры, подпеваает:

Барской своры кобель Скорый
Сера волка подорвал!

И прочее.

И запевало поздравляет барица с полем, а тот обязан положить — **золотую гривну**[288] на смычок Звонарю[289].

Сверх этой очень длинной и однообразной песни охотники, по желанию графа и прочих, пропели еще любимую всеми, превосходно выполняемую хором и одушевленную общим атуканьем борзятников, песню, в словах которой, однако ж, при всем старании, я не мог доискаться надлежащего склада; она поется протяжным голосом и почему-то называется «Заря».

Темна ночка на проходе,
День красный настает;
(Младой) ловчий встает,
В рога голос подает.

— Вы, охотнички, вставайте,
Лошадей, дружки, седлайте,
На смычки собак смыкайте:
Все готовыми ступайте.

Выезжайте во поля,
Выступайте в острова,
И по тем (темным) местечкам,
Где есть озимь и лужечки.

Там бывали русачки.
Ну ж, снимай с собак смычки!
Вдоль по острову ступайте,
Проровняйся, пропорской.

Снова отпускается изрядная порция порсканья и гуденья в рога, после чего хор добавляет:

Хор:

Ты, Затейка, натеки,
Горкалушка, подхвати!
Вот и стая вся взорвала,
Горячо зверя погнала!

Ловчий:

А-у! А-у! А-у!
Доберись, миленькие!
Чуй, дружки, чуй!
У-лю-лю, у-лю-лю, у-лю-лю!
Слушай! Береги в поля!

Хор:

Ты, Нахалушка, нагнись,
Ты, Приметка, растянись,
Ты разбей его, Разбой!
Ты не выдай, Дорогой!

Все:

Ух! Ух! Ух! Дошел! Дошел!
О-го-го, о-го-го, о-го-го!

Запевало:

Барин, с полем честь имеем по-
здравить!

Тут, как водится, следует новая подачка на
ошейник Дорогому.

Нас подчевали чаем.

В сенях и вокруг избы, на вольном воздухе,
охмелевшие уже охотники ходили с чашками
в руках или сидели группами, беспечно и ве-
село рассуждая о суетах мирских вообще и
охотничьих в особенности; между прочим, в
одном кружку шла речь о вчерашних событи-
ях. Тут, как водится, не обошлось без спора,
доказательств и возражений: одни утвержда-
ли, что им пришлось иметь дело с нечистой
силой, другие опровергали их и ловко над ни-
ми подтрунивали. Дистаночный был тоже в

числе почетных гостей; он, по-видимому, был очень доволен обществом и оказываемым ему вниманием. Было также заметно, что между начальником степной стражи и нашим мудренным ловчим утвердилось доверие и приязнь.

Вскоре для нас и в особенности для графа Атукаева, который, кстати сказать, был страстный охотник до людей, подобных Петрунчику, представился случай позабавиться новым и весьма замечательным явлением. Перед окнами у нас как-то внезапно появился отрепанный господин в сереньком гарусном [290] пальто, в зеленых суконных брюках, с множеством заплат, пристеганных кой-как белыми нитками, и в каких-то сандалиях, или, лучше сказать, в бабьих котках [291], наде-тых на босу ногу; под мышкой он держал большую пачку бумаг, свернутых трубочкой. Мусье этот отнесся к группе охотников, сидевших у нас под окном, и начал велеречиво допытываться у них, как ему свидеться с графом Атукаевым; те отвечали как-то неохотно и уклончиво, но когда вновь появившийся прорек: «Не менее того я желаю представить-

ся, и вы обязаны (тут надо было видеть позу и повелевающий его вид) доложить его сиятельству, что путешествующий ученый и благородный человек желает...» и прочее, — наш Атукаев пришел в восторг; он засуетился страшно. Петрунчик, бывший с нами, тотчас получил от него приказание прикинуться графом и принять господина с достоинством. Хлюстиков приосанился, поместился на видном месте, и за господином был отправлен посланец.

— А, это Каракуля! — сказал дистаночный, взглянувши мельком в окно. — Этот...

— Смотри же, Петрунчик, не посрамись! — говорил Атукаев, не слушая Крутолобова.

Каракуля вошел тихо, но не робко, и с какими-то вывертами. Физиономия этого господина была такова, что, взглянувши на нее в первый раз, всякий начнет припоминать: где он видел такую птицу? Совершенно птичий облик! И нос, и рот, и борода у него как-то побежали книзу, согнулись и образовали что-то вроде клюва.

— Кого вам надо видеть? — спросил нетерпеливо граф, когда тот сновал глазами, стара-

сь угадать, к кому следовало отнестись.

— Я-с к его сиятельству...

— А, вам к графу! Вот граф.

Новоприбывший важно подступил к самому носу Петрунчика.

— Честь имею рекомендоваться... Учитель и даже сочинитель! — проговорил Каракуля, наклоня левое плечо и вознося правую руку к свертку бумаг.

— Да какой ты, братец, сочинитель? Что ты сочинил? — начал Петрунчик, жмуря один глаз.

— Помилуйте, сиятельнейший граф, не извольте сомневаться в том. Я сочинил, или, лучше сказать, воспел в хореическом размере [292] поэму, под названием «Мой недремлющий сон».

— Да какой это сон, братец? Что в нем есть, в этом сне?

— Много есть ощущений, поистине верных, потому что сон этот я испытал на себе самолично, имев случай уснуть зимой на улице в нанковом сюртуке. Он написан так, что если б вашему сиятельству угодно было прочесть всю поэму, то вы бы могли вообразить

даже, что это видение мертвого человека, поелику я был мертв: мужики оттерли-с.

После такого вступления учитель-сочинитель долго пояснял Петрунчику, какого рода сны бывают у мертвого человека, и под конец, как-то экспромтом, заключил:

— А не менее того я вас могу уверить, что для ученого человека достаточно одной рюмки водки.

С этим Петрунчик, как видно, был совершенно согласен, потому что не замедлил крикнуть к людям о подаче бодряжки. Через час мы оставили их обоих пляшущими под песни охотников. На другой день нам донесли, что Петрунчика и учителя-сочинителя охотники как-то стравили, и они подрались; учителя вытолкали вон, а Петрунчик, отоспавшись, явился к ответу и, по общему приговору, был обречен на трехдневное воздержание.

После этого охотники наши ездили в разные стороны по степи, **в наездку** без гончих. Нет ничего скучнее той наездки. Это однообразное дело способно породить скорее охлаждение и навести дремоту, нежели завлечь и

пристрастить к себе человека, еще не томящегося охотничьей лихорадкой. Езда «на глазок» по степи за лисицами монотоннее и скучнее в десять раз езды мелкотравчатых на хлопки за зайцами. Там, по крайней мере, это круговое движение, крик, хлопанье, а больше всего постоянное ожидание, что вот-вот выскочит **косой** из-под межи или кустика, увлекают охотника, и он, подстрекаемый нетерпением и надеждой, суетится, хлопает и кричит: «Эх, вскочи! Эх, подымись! Потешь, дружок!» — и прочее. И вот матерой, свежий рукав прыгнул на сажень вверх, взбрыкнул ножками, перетроил, насторожил одно ухо и «загорелся, как свеча!». Все встрепенулось, гикнуло, помчалось вслед за этим голубым шариком... И вот какой-нибудь Крылат оторвался от кучи собак, заложился по русаку, доспел, швырнул косога — раз! два! И вслед ему раздаются голоса, полные энергии, страсти... Нет, совсем не то езда за лисицами!

Выехав из дома, охотники наши растягивались в линию и, захватив большое пространство степи, двигались шаг за шагом, все больше расширяя линию и подаваясь медленно

вперед, высматривали лисицу на рыску или отаптывали попадавшие по пути круговины с кочками, где она могла залечь, и все это делалось как-то крадучись, втихомолку... Нужно иметь слишком острое зрение, чтоб заметить лисицу на рыску в степи, обыкновенно версты за две и более впереди себя. Тут начинается эта томительная **отъездка зверя**: два-три охотника отделяются и начинают заезжать на рысях лисицу спереди и с боков, стараясь вначале пересечь ей путь, **скружить** и отъехать от опасного места, и тогда уже, после продолжительной, осторожной и утомительной для лошади и собак отъездки, начинается травля такого зверя, против которого надо иметь в запасе слишком много находчивости и соображения, чтоб овладеть его шкуркой. Разорванная таким образом линия опять сомкнулась, и опять увидели движущуюся темноватую точку на горизонте, и снова два-три зоркие вершника отделяются от прочей братии и едут на рысях, таща на своре высушенных языки собак и разъединяясь и кружа по степи, направо, налево, исчезают из вида и пропадают в пространстве; снова начинается

это безмолвное, устроенное на знаках и пантомимах движение вперед, преследование на авось! Ничего общего и жизненного — все втихомолку, все врозь, и за всю эту тоску и муку чаще всего в результате — обманутое ожидание, чистая неудача! Нет, езда за лисицами, по чернотропу[293], на глазок, по-моему, дело, не стоящее ни времени, ни труда.

Несмотря на это наши господа кружили по степи в продолжение трех дней сряду, измучили лошадей подбили собак, и затравили зверя, сравнительно с прежней ездой под гончими, вдвое меньше.

Дав наконец отдохнуть лошадям и отлежаться собакам, решились на **последях** взять Синие кусты и проститься с гостеприимной степью.

Идучи к острову, охотники долго подтрунивали над Фунтиком, которому не суждено было ни разу возить в тороках лисицу, хотя он принимался травить их по нескольку раз. Мальчик отшучивался, но по лицу его было заметно, что он досадовал. На этот раз придали ему к своре старую, хорошо притравленную собаку, потому что бывшие у него зай-

чатницы плохо управлялись с лисицей. Не было сомнения, что мальчик на последях утешится. Место для себя он выбрал весьма надежное и стал в голове лоцинки на перемычке, меж двумя графскими охотниками. Игнаткинул свою стаю в остров, и гоньба вскоре закипела. Борзятники начали травить; дошла наконец очередь и до Фунтика. Выждав на себя зверя с полным терпением, он отдал свору, и собаки его накрыли матерую лисицу, сразу, без угонки. Надо было видеть, с какой поспешностью обрадованный новичок соскочил с лошади, второчил лисицу и очутился снова на своем счастливом месте! Я смотрел на него издали и молча порадовался его успеху.

— Ну, теперь его не достанешь рукой! — промолвил Бацов, глядя в свою очередь на Фунтика.

Долго после этого пробыли охотники под островом; лисиц в нем, по-видимому, было меньше прежнего, однако ж борзятники не застаивались: во многих местах травля шла очень успешно. Я собрался ехать к Алееву на другой конец острова, как Бацов, взглянув в

сторону, вскрикнул: — Смотри! Фунтик! Что с ним?

Было от чего воскликнуть Бацову. Весьма смиренная и хорошо приезженная лошадка, на которой сидел Фунтик, неизвестно отчего пришла в бешенство. Стоя до этого на месте очень спокойно, она вдруг помчалась зря и начала страшно трепать задом. Справляя на вольты и осаживая на поводьях сколько доставало сил, мальчик не трусил и крепко держался в седле, но лошадь металась, взбрыкивала, приходила в большую и большую ярость и, забрав силу, закусив удила и понурив голову, помчалась прямо по степи, взмахивая высоко задом. Изнемогши в борьбе, мальчик, как видно было, отдался на произвол бешеного животного, но все-таки держался в седле твердо. Все это произошло так быстро и неожиданно, что никто из ближайших охотников не вздумал поспешить к нему на выручку, да и сделать это для них не было никакой возможности: скача к Фунтику на помощь, они обязаны были спустить со свор собак, которые, не видя перед собой зверя, успели бы тем временем наделать страшной ку-

терьмы. Взглядывая один по одному на скачущего мальчика и не понимая причины этой скачки, никому не приходило в голову, что каждому из нас следовало, брося все, ринуться на помощь в самом начале, теперь же, когда все поняли необходимость этого, было уже поздно: мальчик был слишком далеко от нас. Между тем, пока мы недоумевали, глядя на это новое, загадочное для всех явление, лошадь, взмахивая высоко задом, уносилась дальше и дальше... Наконец, оступившись, она опрокинулась, подмяла под себя слабого седока и, вскоча на ноги, снова помчалась степью, таща за собой мальчика, у которого, несомненно, одна нога осталась в стремях. Бацов, я и один из охотников поскакали по следам бедствующего; после нескольких вострепов лошадь наконец поскакала одна, оставя несчастного седока посреди степи. Мы вскоре очутились подле него, но — увы! — это был уже не наш проворный и веселый Фунтик, а его безжизненный труп. Из рта у него обильно текла кровь с пеной. Он получил несколько удавов в грудь и в голову; на ноге у него осталось оторванное от седла стремя, у

пояса висел обрывок чумбура. Осмотрев все внимательно, мы подали сигнал «на драку», и несколько охотников не замедлили прискакать к месту. К Стерлядкину и прочим господам был послан гонец с известием о случившемся, и те явились вскоре. Неожиданная смерть Фунтика глубоко опечалила всех охотников; у многих появились на глазах слезы; все они любили мальчика, забавлялись его резвостью и обращались с ним, как с меньшим братом; даже дистаночный и его неразлучный товарищ горевали искренне, глядя на погибшего.

Что было причиной этой грустной катастрофы? Отчего такая благонравная и смиренная лошадь, на которой мальчик ездил три года в хлопунцах[294], вдруг взбеленилась и наделала таких бед? Это были вопросы пока неразрешимые.

Стерлядкин искренне сокрушался и себя одного упрекал в случившемся несчастье; мы все вообще чувствовали себя как-то неловко, как будто на каждом из нас лежала частица обвинений, взводимых на себя Стерлядкиным.

Послали на квартиру за линейкой для перевозки тела с хутора, и несколько охотников отправились по нашему указанию для поимки убежавшей лошади, но они возвратились поздно вечером, не найдя даже признака ее следов, и только на другой день к вечеру, с помощью и содействием дистанчного, удалось на нее наткнуться объездчикам. Лошадь погрязла и околела в одной из тинистых ложин, в Бурихинском участке, вблизи тех мест, где мы травили оборотней. По донесению сторожей, на ней было седло с притороченной к нему лисицей. Это было верстах в десяти от нашей квартиры, и мы наутро сели в линейку и отправились с несколькими верховыми на место. С первого же взгляда на лошадь причина смерти горячего и неопытного охотника открылась нам со всею ясностью: этот редкий, однако ж не единственный в охоте случай служил еще большим доказательством тому как много опытности и соображения надо иметь охотнику чтобы управиться с таким зверем, как лисица.

Дело заключалось вот в чем. Каждому уже известно, что лисица, при ее необыкновен-

ной изобретательности средств к своему спасению, попавшись наконец в руки к охотнику, пускается на последнюю крайность: она ловко прикидывается мертвою. Нет сомнения, что так было и с Фунтиком. Приняв лисицу от собак, обрадованный мальчик, по неопытности или по забывчивости, не добив ее, приторочил к седлу **по-заячьи**[295], то есть просто привязал ее за ноги к задней луке, оставя голову на свободе. К несчастью, ни одному из соседних охотников не пришла мысль взглянуть ближе и внимательнее, как управился новичок с своей добычей, а издали рассмотреть было невозможно; сверх того, каждый из них, стоя на лазу, обязан был не зевать и думать о себе одном. Очень естественно, что Фунтик, второча живую лисицу и став на прежнее место, обратил свое внимание на то, что происходит перед ним в острове. Лисица тем временем очнулась и запустила острые зубы в пах лошади. Нестерпимая боль и страшный испуг последней были виновниками виденных нами последствий. Когда люди тащили на аркане лошадь из тины и сняли с нее седло, оказалось, что правый

пах у нее местах в шести был глубоко прокушен, и кровь текла обильно; все это доказывало, что лисица была приторочена живая и околела в болоте вместе с лошастью.

Употребив следующий за тем день на отдавание грустного долга нашему общему любимцу, мы изготовились в ночь и выступили на зорьке в дальнейший путь. Дистанционного и бывших при нас объездчиков за их хлопоты и усердие одарили щедро, так что первый остался вовсе не в накладе за «убытки, понесенные Феопеном», а последние, допивая прощальную чарку с охотниками, выражались искренне, что «таких господ на редкость встретишь!».

Так тревожно начали мы наше полеванье во владениях графини Отакойто, так весело и удачно продолжали и так грустно пришлось его кончить.

Крутолобов с двумя сторожами провожал нас далеко степью, направляя наше следование к Хопру, куда мы двинулись с целью, провести там остаток осени до порош.

Х

Кочевая жизнь. — Крутое. — Зима-весна. — Бугры. — Еще одна хитрость лисицы. — Необыкновенные волки. — Крылатые звери. — Отъезд. — Бокино. — Производство в чин. — Заключение.

Теперь остается сказать немного о тех замечательных явлениях, которые почему-нибудь выходили из ряда обыкновенных и останавливали на себе наше общее внимание. По выходе из прасольских хуторов мы повели жизнь вроде наездничьей, или, лучше сказать, кочевой-цыганской. За исключением Хлюстикова и людей, обязанных быть при обозе, все мы сидели на конях и, растянувшись в линию, протекали местность в виде опустошительной лавы. Обоз с заводными [296] лошадьми и порожними фурами шел вместе с нами, пробираясь где-нибудь сторонкой, и был постоянно в виду. Очередная стая шла тоже с нами, и если имелся в виду какой-нибудь остров, ловчий вводил туда гон-

чих и проходил его напролом: борзятники за-
равнивались на рысях, окружали остров,
гоньба закипала живо, рог гудел «по красно-
му», и зверь выносился на счастливого охот-
ника, а иногда попадали на целый выводок
волков, и тогда травля становилась общею, а
там снова движение на хлопках... Часу во вто-
ром за полдень по данному сигналу все съез-
жались к обозу, потом, пообедав всухомятку и
дав отдохнуть лошадям и собакам, шли даль-
ше. И так с раннего утра до поздних сумерек,
когда обозничие, прикочевав к какому-ни-
будь поселку и запасшись фуражом и прови-
антом, устраивали для нас ночлег.

По мере удаления нашего от графской сте-
пи местность начала резко изменяться в сво-
их очертаниях; глаз перестал лениво сколь-
зить по этой однообразной плоскости с ее ни-
чтожными оттенками; начались бугры, ска-
ты, перелески, глубокие лощины с топким
дном и низким кустарником, так сильно вле-
кущим к себе псового охотника; кой-где в сто-
роне начали поблескивать крашенные крыши
господских усадеб, частые поселки, шпицы
колоколен, речки с широкими перепрудами,

мостами и мельницами. Час от часу наше общее движение начало оживляться большим разнообразием и тревогой: стали попадаться бежкие[297] русаки, затевалась заркая травля, отчаянная скачка...

На четвертые сутки перед вечером мы прикочевали к Крутому и расположились на стоянку, для того, что тут нам предстояла серьезная, или, сказать лучше по-охотничьи, «строгая езда». Крутое — это был крайний или начальный пункт обширного бассейна новохоперских мест, куда по осени с разных сторон съезжалось множество псовых охотников, и все они, переходя от места к месту и не мешая друг другу, везде находили обильное количество зверя. Следующий день был определен на отдых, на осмотр местности и на подвывку. Пользуясь прекрасной погодой, мы расположились в виду острова бивуаком: разбили две палатки, устроили несколько шалашей, врыли котлы, настлали логовище для собак, — одним словом, в два часа времени устроились как нельзя лучше и удобнее и зажили как дома. Сзади нас, на краю горизонта, стояло село Крутое с церковью и множеством

ветряных мельниц; перед нами, через речку и широкое поле, тянулась сплошная куща береженого леса[298], блистая на солнушке багряными и желтыми отливами; от него в сторону шли бугры и буеры, поросшие мелким кустарником; все это заканчивалось вдали такой же волнистой и всюду неровной плоскостью. Русский человек не задумается, как именовать то место, на котором он обитает; потому ли, что самое село было расположено над обрывистым скатом возвышенной местности, или эти бугры с крутыми боками носили название Крутого, — неизвестно, но верно то, что тут в необитаемой глуши, среди обширных болот и дикой заросли, выплаживалось много красного зверя, а жизнь ему тут была самая привольная.

Наутро после первого ночлега нашего под островом в воздухе была такая тишина, и солнце светило до того ярко, что нас, поселившихся под сенью березовой рощицы, прямо на полдень, начало обдавать вешним зноем, и собаки, тяжело дыша, прятались под тень. Но пословица недаром велит хвалить утро, когда настанет вечер: часу в третьем за пол-

день подул резкий восточный ветер, и весна наша умчалась нивесть куда. Через час небо заволокла сплошная серая туча, посыпал обильный снег, и к утру его выпало с лишком на четверть. «Пороша! Пороша!» — кричали наши охотники, пробуждаясь на зорьке и поднимая край полости, на которой лежал толстый пласт снега. Но недолго послужила им эта мимолетная зима: часам к десяти, пока люди успели позавтракать и собраться, солнце пригрело по-вчерашнему, бугры начали обнажаться, снег — таять, и к ночи осталась только ничтожная его частица по приборам и впадинам.

Часу в десятом оба ловчие в легких куртках и в болотных сапогах повели пешком гончих в бугры. Выжлятники поехали вслед за ними и, спустившись в первую лощину, разбрелись по разным пунктам для того, чтобы иметь возможность сбивать и задерживать собак во время гоньбы. Борзятники тоже, разделившись по трое и по пятку, пошли занимать места и скрылись в лабиринте спусков. Не так-то легко было каждому из них добраться до назначенного пункта: бугры, ка-

завшиися издали сплошными, стояли один от другого на слишком далеком расстоянии, а низина между ними состояла из топи с частыми протоками и прочими болотными принадлежностями.

Всеми, как говорится, правдами и неправдами, то сядясь верхом на лошадь, то таща ее за собой на чумбуре через топь и по крутому склону каждого бугра, прихватываясь на пути за ветки кустарника, я взобрался наконец на темя одного из возвышений, откуда, сидя верхом на лошади, было очень удобно обозревать и местность и действие каждого охотника. Цепляясь также за сучья и таща в поводу лошадей, борзятники устанавливались по местам лицом к тому пункту, откуда ловчие должны были напускать стаю. Глядя на последних, нельзя было не припомнить известной всем поговорки, что охота бывает иногда хуже неволи! Я уже имел случай говорить о значении ловчего, проникнутого страстью к своему занятию, но едва ли сумел бы я показать в надлежащем свете ту степень труда и самопожертвования, на какую обрекает себя ловчий, желающий правильно, усердно и

добросовестно вести свое трудное дело. За примерами ходить, конечно, было бы недалеко. Как доказательство тому я приведу здесь следующий, отнюдь не редкий и до того обыкновенный случай, что о нем ни один из охотников не стал бы и упоминать.

Под конец гоньбы в буграх гончие у Феопена подхватили по волку и скололись; зверь пошел прямика, низиной, минуя борзятников. Игнат видел это, но насадить гончих на след не было никакой возможности: перед ним стояло целое озеро воды, и бывшие с ним собаки, не чуя следа, шли туда неохотно; недолго думая, наш ловчий подхватил двух зверогонов под мышки и ринулся с ними в воду; сначала он побрел по пояс, потом по грудь, наконец юркнул с головой; собаки поплыли вместе с шапкой ловчего. Очутясь на суше, Игнат мигом насадил собак на горячий, подал рог и, забыв свою плавающую шапку, принялся накликать остальных собак и исчез с ними в камышах; выжлятники тем временем успели подбить несколько новых голов, заскакали зверя, подали его на хлопках охотникам, и волк был принят сразу. Говори-

те после этого ловчему, что, принимая такие ванны, он может схватить по крайней мере лихорадку, — ответом, наверное, будет: «Ничего-с!»

К двум часам мы вышли из бугров и, проходя полем, метали гончих по отъемам; зверя нашли немного, однако ж не проходили попусту. Тут мне пришлось долго любоваться на одну из тех проделок, на какие может быть способна только Патрикевна.

В одном из отъемных болот, лежавших посреди чистого поля, гончие натекли на лисицу. Втравленная до двух раз обратно в болото и видя свое безвыходное положение, лисица ринулась в стаю и, разметав гончих между кочками, очутилась у ног моей лошади, стоявшей недвижимо в частом кустарнике. Осмотрев всех борзятников, стоявших на чистоте, и не замеченная ими, лисица шмыгнула через дорогу и проползла под межой к толстому слою не растаявшего еще снега; тут, растянувшись во всю длину, она начала нагребать на себя снег и так искусно зарылась в нем, что не выдавшему этой проделки никак бы не пришло на мысль заподозрить здесь ее

присутствие. Долго простоял я, не сводя глаз с того места, где торчал один только кончик черного носика затейницы.

Подъехал Бацов.

— Хочешь травить лисицу? — спросил я.

— Где? Как? Говори, где она?

— У меня в кармане.

— Ну, вот! Вздор, пустяки!...

— Ну, если пустяки, так ступай своей дорогой; я прислужу кому-нибудь другому.

— Нет, пожалуйста, говори правду! Ты не шутишь?

— Какие тут шутки! Я говорю серьезно: хочешь травить, — пуцу тебе лисицу из рукава, а не веришь, — ступай на свой лаз!

— Ну, вздор! Какого там черта выпустишь...

— Я говорю: лисицу, а не черта.

— Да где ж она?

— У меня...

— Пустяки!...

— Пари?!

— О чем?

— На бутылку шампанского. А если не дам тебе лисицы, — отвечаю дюжиной.

— Да где ж она, твоя лисица?

— Опять-таки говорю: в кармане.

И снова разговор в том же роде. Долго томил я бедного Луку Лукича, наконец, сжалившись над ним, велел приготавливаться, и, подъехав к тому месту, где лежала лисица, хлопнул раз до трех арапником. Видя беду неминуемую, Патрикевна, как ни прикидывалась мертвою, однако ж должна была вскочить из-под копыт моей лошади и досталась в жертву Караю.

На другой день, по указанию мужиков, доставлявших нам фураж, мы отыскиали гнездо волков из одиннадцати штук: одного из них прозевали тенетчики, другой попал на слабую свору графского борзятника и оттерся в кустах, но затравленные в одно время девятю остальных привели в немалое удивление почти всех охотников, хотя некоторые, рассматривая добычу, утверждали, что им случилось и прежде видеть подобных: дело в том, что в гнезде этом оказалось волчат: двое черных, один белый, два обыкновенного цвета и трое пестрых (серо-пегих). Затравленная при них матка была обыкновенной шерсти.

На обратном пути нас обдало сильным дождем, небо обложилось тучами, и дождь лил до полуночи. Все это нимало не обескуражило наших охотников; в три дня стоянки под Крутым они успевали нагородить столько шалашей под густой настилкой соломы, что могли укрыть от слякоти не только себя, но даже собак; пострадали одни только лошади. Я спал в одном шалаше с Бацовым. На рассвете дня в лазейку, завешенную ковром, просунулась к нам благополучная физиономия Игната с словом:

— Барин.

— Что тебе надо? — спросил я полусердито, как это бывает с людьми, нехотя пробуждающимися.

— Охотники собираются. Прикажете побудить?

— Да ты уж разбудил меня. Что они? Куда едут?

— Не знаю. Лошадей заседлали, и господ будят.

— А на дворе что?

— Мороз страшный.

— Что ж они, одурели, что ли? — прогово-

рил Бацов тоже сердито.

— Не могу знать, — отвечал Игнатка.

— Позови сюда кого-нибудь из охотников! — заключил я.

— Куда вы собираетесь? — спросили мы новую физиономию, появившуюся на месте Игнаткиной.

— Да вон крылатый зверь подступил к березняку, так хотят попытать счастья, — отвечал тот как-то невразумительно.

Через несколько минут мы были уже одеты и сели на лошадей. Мороз был препорядочный; на сучьях деревьев и на земле, облитой вчерашним дождем, блестела ледяная корка. Человек шесть охотников и мы с графом выехали в поле без собак, с одними арапниками. На озимях сидело небольшое стадо дроф; разделясь по двое, охотники справа и слева поскакали в заезд стороной, и вскоре дрофы были окружены. Видя это круговое нападение, птицы разбежались врозь и норовили скрыться, но лошади были резвее их, и каждый из седоков, избрав для себя жертву, тотчас догонял ее. Причина такого успеха заключалась вот в чем: у дроф, ночевавших посре-

ди поля, размокшие крылья так сковало морозом, что они не могли их разнять для того, чтоб улететь от нас. Мы очень легко догоняли их на бегу, но справлялись с ними не без труда. Тут, как водится, не обходилось без смеха: старый дудак чуть не заклевал у нас охотника: конец арапника, которым тот стегнул птицу, туго обвился кругом и захлестнулся у нее на шее; охотник полез с лошади с тем, чтоб овладеть птицей, но рассвирепевший дудак перешел из оборонительного оложения в наступательное: он начал прыгать на охотника, норовя выключнуть ему глаз, вскоре сшиб с ног своего преследователя; борьба, повершаемая общим смехом, длилась, пока не подоспели к бедствующему на выручку. Поймав пять штук дроф, мы вернулись к шалашам.

Глядя на колоть[299], охотники наши призадумались: надо было хорошенько поразмыслить, на что следовало решиться: идти ли дальше, в надежде на «оттеплину», или вернуться к домам? Последнее решение было принято почти единогласно, потому что слишком поздняя осень не подавала надежды на возможность дальнейшей езды по черно-

тропу, а стоять на месте без дела и ждать порош было бы безрассудно; не всякая ведь зима бывает богата порошами. Иной год выдается для охотника такой несчастливый, что ему во всю зиму придется взять две-три пороши **слепых** и тем забастовать. Сверх того, к порошам мы могли не спеша поспеть к домам, где было припасено довольно **огляженного**[300] уже зверя. Итак, усадив собак и разместившись сами как удобнее, мы тронулись наконец в обратный путь.

На пятые сутки мы прибыли в Бокино и, оставив обоз и охотников на постоялом дворе, сами поспешили к вашим радушным знакомцам. Нежданное появление наше привело обоих братьев в восторг. По маршруту нам следовало пройти левее Бокина, но мы согласились сделать маленький крюк, чтоб доказать тем наше общее желание свидеться с ними. Нужно ли пояснять, с каким радушием мы были встречены! Расспросы и повествование о кочевой жизни длилось до позднего вечера, после чего условлено было, пользуясь завтрашней стоянкой в Бокине, сделать для охотников обеих охот прощальный пир; в

этой затее и на мою долю была частица в общей стачке, которую, однако ж. постарались до времени от меня скрыть.

На другой день мы отправились к охотникам, где уже все было подготовлено к тому, чтоб попить на славу; для нас тоже был приготовлен завтрак на отдельном столе, где, перед одним из приборов лежали в виде украшения охотничий нож, рог и свора. В силу общей стачки все разместились за столом так, что мне пришлось сесть прямо против этих атрибутов, положенных, как видно было, не без цели. Охотники весело и непринужденно уселись за длинными столами в двух просторных избах и пошли пирировать; вначале у них шло все тихо и степенно, потом, когда стала, как говорится, у каждого летать муха перед носом, говор и смех усилились в одну непрерывно рокочущую ноту.

Под конец завтрака, когда мы чокнулись чуть ли не по четвертому разу стаканами, явился хор и запел какую-то поздравительную песню, которой содержания теперь не припомню, но удержался навсегда в памяти ее припев. Каждый куплет запевало, обраща-

ась ко мне, заканчивал так:

Будь товарищ закадычный,
Будь охотник ты лихой!

По окончании пения все объяснилось: со седи мои, граф и Бацов, чокнулись со мной и предложили вопрос, желаю ли я быть записным охотником и всем им товарищем? За согласием, конечно, ходить было недалеко, и вслед за тем началось при звуке рогов торжественное посвящение меня в звание псового охотника: Атукаев препоясал меня кинжалом, а Бацов, навешивая рог на плечи, горячо обнимал меня и приговаривал: «Нет, ты, брат, не шути этим! Это дело важное; теперь ты сам — **человек настоящий...**» — и прочее, Алексей Николаевич подвел на приплод пару породистых собак. Вслед за тем пошли тосты поздравительные, благодарственные и всякие иные. Таким образом, при торжественном звуке рогов и восторженных криках охотников мне суждено было принять на себя почетный титул мелкотравчатого, каким имел я честь предстать пред вас, мой читатель, еще в начале этих беглых очерков.

На другой день мы разъехались из Бокина в разные стороны.

В заключение мне бы следовало, по долгу пишущего, сказать свое мнение о пользе или бесполезности по преимуществу псовой охоты, так как о ней, собственно, шла здесь речь, но об этом предмете и я, и вы, мой читатель, наслушались и начитались столько суждений, что мне пришлось бы повторять чужие мысли и слова. От себя добавлю только то, что правильная и серьезная псовая, как и всякая другая, охота есть своего рода наука, к которой, заключу словами ловчего Феопена: «**Надо подступать умеючи**»!

Примечания

Первая глава «Записок мелкотравчатого» [301] под названием «Мелкотравчатые. Очерк из охотничьей жизни» была напечатана в № 2 «Москвитянина» за 1851 г. Главы I-VI появились в № 9, 10 и 12 «Библиотеки для чтения» за 1857 г. Первый очерк здесь был переработан: проведена стилистическая правка, некоторые сокращения, песня «Ах, не белы снеги во чистом поле забелели» заменена на более соответствующую времени действия «Эх, не одна во поле дороженька пролегла». (Отметим, что и И.С. Тургенев в отдельном издании «Записок охотника» приводит «Дороженьку» в «Певцах». В журнальной же публикации «Певцов» исполнялась плясовая песня «При долинушке стояла...»). Из-за песни произошел и перерыв в печатании «Мелкотравчатых» в «Библиотеке»: Дриянский не успел получить от «своих» охотников из Раненбурга (к этим охотникам, к слову сказать, регулярно по отпечатанию отправлялись оттиски глав «Мелкотравчатых») песни для сцены охотничьего праздника. По сравнению с

«Москвитянином» изменилось и заглавие произведения — только теперь оно стало печататься как «Записки мелкотравчатого», внешнее оформление — появилась нумерация глав, их краткое содержание стало выноситься вперед.

Судя по письмам к Дружинину, Дриянский значительно расширил первоначальный план: «Псовая охота» — так он хотел назвать свой охотничий эпос — должна была включать наряду с «Мелкотравчатыми» и другие произведения на ту же тему (впоследствии некоторые из них были опубликованы с подзаголовком «Из записок мелкотравчатого»). «Псовую охоту» автор мечтал издать с новотипажамми, а пока печатание «Записок» в «Библиотеке» оборвалось на VI главе.

В 1859 г. в письме от 3 марта Островский известил Дриянского, что Г.А. Кушелев-Безбородко желает приобрести «Мелкотравчатых» для своего журнала. «Собрав печатный текст (то есть публикацию в «Библиотеке». — В.Г.) и приложив к нему рукопись, служившую ему продолжением и окончанием», Дриянский выезжает в Петербург, где 8 марта в присут-

ствии свидетелей (А.Н. Островского, П.М. Боклевского и И.И. Рюмина) заключает с редактором «Русского слова» следующий договор: а) Редакция «Русского слова» отпечатывает «Записки мелкотравчатого» отдельною книгою для выдачи подписчикам журнала в виде приложения... б) Редакция отпечатывает в пользу автора один завод в количестве 1200 экземпляров и пересылает их переплетенными на место жительства автора, в г. Москву, через контору Базунова (А. Ф. — известный издатель и книгопродавец, — *В.Г.*). Автор, с своей стороны, в видах интересов журнала, обязывается не пускать книг в продажу ранее 1 января будущего 1860 года (то есть до тех пор, пока главы VII-IX «Мелкотравчатых» не будут окончены печатанием в самом журнале. — *В.Г.*)».

В июле Дрянского известили, что напечатание «Записок» окончено, и, «обнадеженный таким положительным известием», он прибыл в Петербург, чтобы, «не затрудняя контору излишнею пересылкою, распорядиться лично продажею книги». Но здесь писатель нашел следуемые ему экземпляры в «таком

неестественном виде, что из них нельзя было сделать никакого употребления». «Мелкотравчатые» были отпечатаны крайне неряшливо, неправильно сброшюрованы, встречались пробелы, шрифт был выбран неудачный.

Дриянский экземпляров не принял и стал просить, чтобы книга была перепечатана «надлежащим образом». Два раза приезжал он с этой просьбой к Кушелеву, «но, к сожалению, оба раза граф изволил почивать». «Наконец, — вспоминал он впоследствии, — прожив в Петербурге двадцать два дня, без копейки в кармане, я... уехал обратно, заплатив за лестное знакомство с графом Кушелевым-Безбородко из собственных трудовых денег сто пятьдесят рублей». 3 января 1860 г. Дриянский отправил Кушелеву письмо, в котором описывал свое бедственное положение и, взывая к благородству редактора «Русского слова», просил разрешить свое дело. Ответа не последовало — граф отбыл за границу. Более того, вскоре выяснилось, «что книги по распоряжению графа распродают и что контора считает их своею собственностью». Та-

ким образом, была разрушена предпринятая Дриянским попытка издать отдельно «Мелкотравчатых» в другом месте — у книгоиздателя Н.А. Основского.

На этот раз Дриянский решает не оставлять «неудавшегося мецената» без «судьбища». 22 февраля 1860 г. с помощью Островского он составляет обширное заявление на имя министра просвещения Е.П. Ковалевского, где подробно излагает все обстоятельства дела и в заключение просит: «Вести тяжёлое дело с графом судебным порядком я не имею ни времени, ни средств, а потому, по силе узаконений, касающихся «прав собственности сочинителей, переводчиков и издателей» (речь идет о статье 3095, X тома Свода Законов Российской империи. — *В.Г.*), покорнейше прошу ваше высокопревосходительство не отказать мне в назначении третейского суда из числа находящихся в Петербурге господ ученых и литераторов, а графа Кушелева-Безбородко, за отсутствием его, обязать уполномочить от себя доверенное лицо для разъяснения причин его намеренного или ненамеренного захвата чужой собственности».

Где-то в десятых числах апреля Дриянский получил ответ на свое прошение, названный им «отповедью по моему делу». Оказывается, министр просвещения передал заявление Дриянского в главное управление цензуры, которое и извещало просителя, что его дело никакого отношения к данному учреждению не имеет. «Ответ, полученный мною, — недомевал Дриянский, — нисколько не соответствует моей просьбе, и не знаю, каким манером она попала в цензурное отделение».

Так ничем и закончилось дело о «Мелкотравчатых»: Дриянский не получил за свою лучшую книгу ни гонорара, ни какого другого удовлетворения. «Записки» больше ни разу при жизни автора не переиздавались — первое посмертное издание вышло в 1883 г. Затем, в 1906 г., «Мелкотравчатые» были переизданы в качестве премии к журналу «Псовая и ружейная охота». В 1930 г. их переиздает П.Е. Щеголев, а в 1957—1958 гг. Н.П. Смирнов в альманахе «Охотничьи просторы» (№ 8-10).

В настоящей книге текст печатается по изданию: Дриянский Е.Э. Записки мелкотравчатого. Редакция и вступительная статья П.Е.

Щеголева. М. — Л., 1930 (с исправлениями по изданию 1859 г. и журнальным публикациям с учетом современных орфографических норм).

Библиография произведений Е.Э. Дри- янского:

Одарка Квочка — «Москвитянин», 1850, №№ 17-18.

Комедия в комедии — «Москвитянин», 1855, № 6.

Комедия в комедии. Комедия в 3-х действиях. М.: 1855.

Лихой сосед — «Библиотека для чтения», 1856, № 11.

Квартет — «Библиотека для чтения», 1858, №№ 9-10.

Притон — «Отечественные записки», 1860, № 3.

Амазонка — «Русский вестник», 1860, № 18.

Изумруд Сердоликович — «Зритель», №№ 18-20.

В вагоне — «Карманная библиотечка для дороги», М.: 1862.

Конфетка — «Современник», 1863, № 7.

Былые времена — «Развлечение», 1864, №

8.

Туз. Жизнеописание Антона Антоновича. Роман в 4-х ч., М.: 1867.

Скипидар Купоросыч — «Журнал Московского общества охоты», 1870, №№ 1, 4, 5.

Бог не выдаст — свинья не съест. Комедия. — «Беседа», 1872, № 7.



Примечания

Цит. по кн.: Щеголев П.Е. Об авторе «Записок мелкотравчатого». — В кн.: Дрянский Е.Э. Записки мелкотравчатого. М. — Л., 1930, с. 30.

[^^^]

Островский А.Н. Полн. собр. соч., т. XI, М., 1979, с. 413—414.

[^^^]

Там же, с. 414.

[^^^]

Неизданные письма к А.Н. Островскому. М. —
Л., 1932, с. 123.

[^^^]

Дриянский Е.Э. Записки мелкотравчатого, с.
13.

[^^^]

Анненков П.В. Литературные воспоминания.
М., 1900, с. 395.

[^^^]

Дриянский Е.Э. Записки мелкотравчатого, с. 4.

[^^^]

Мачеварианов П.М. Записки псового охотника Симбирской губернии. М., 1676, с. IV.

[^^^]

Смирнов Н. Охотничий язык как разновидность народной речи. — В альм.: Охотничьи просторы, т. 15. М., 1960, с. 249.

[^^^]

Вопросы литературы, 1970, № 9, с. 255.

[^^^]

Лит. наследство, т. 88, кн. 1. М., 1974, с. 319.

[^^^]

Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко в Нежине. Спб., 1881, с. XLIII.

[^^^]

Мы исходим из своих предположений относительно времени рождения Дриянского (его личное дело в архиве гимназии не обнаружено. Вероятно, оно сгорело в числе многих других во время пожара 1918 г.). Тот круг литераторов, в котором Дриянский вращался в Москве, состоял из людей примерно одного возраста: 1820—1825 гг. рождения. По письмам и воспоминаниям можно заключить, что Дриянский принадлежал к тому же поколению.

[^^^]

Островский в воспоминаниях современников. М., 1966, с. 80.

[^^^]

Островский в воспоминаниях современников, с. 80.

[^^^]

См. об этом в примечаниях к данному изданию.

[^^^]

Письма к А.В. Дружинину. М., 1948, с. 118.

[^^^]

Неизданные письма к А.Н. Островскому, с.
108.

[^^^]

Письма к А.В. Дружинину, с. 121.

[^^^]

Дриянский Е.Э. Записки мелкотравчатого, с.
34.

[^^^]

Островский в воспоминаниях современников, с. 129.

[^^^]

Писемский А.Ф. Материалы и исследования.
Письма. М. — Л., 1936, с. 124.

[^^^]

Островский о воспоминаниях современников, с. 67.

[^^^]

Красный зверь — то есть наиболее ценный зверь (медведь, волк, лиса, рысь и др.).

[^^^]

Свора — обычно две борзых или две пары борзых собак на сворке, своре — ремне или бечевке, на которых их водят (от слова «варять» — охранять по Далю).

[^^^]

Борзые — одна из древнейших пород охотничьих собак. Отличаются узкой, длинной мордой (щипцом), поджаростью, длинными тонкими ногами и быстротой бега (русские борзые). С борзыми охотятся на зайца, лисицу, волка и др.

[^^^]

Сметка — скачок зайца в сторону, чтобы скрыть след.

[^^^]

...в жирах... — то есть в многочисленных следах, которые проложил зверь, разыскивая пропитание.

[^^^]

Нарыск — след красного зверя.

[^^^]

«...дошел до степеней известных...» — неточная цитата из «Горя от ума» (дейст. 1, явл. 7).

[^^^]

Отъезжее — отъезжее поле — псовая охота с отъездом в какие-нибудь охотничьи места.

[^^^]

Пулька — партия игры в преферанс.

[^^^]

Валек — толстая палка у передка экипажа, к которой прикрепляются постромки пристяжной лошади.

[^^^]

Атрыш! — отступись, отойди прочь! — окрик на борзых при отобрании у них добычи.

[^^^]

Помощники ловчего.

[^^^]

Фура — большая крытая телега.

[^^^]

Кутуфта — библейский персонаж.

[^^^]

Кухмистерские принадлежности — здесь: кухонные и столовые принадлежности.

[^^^]

Вольты — крутые круговые повороты.

[^^^]

Казакин — полукафтан со стоячим воротником и со сборками сзади.

[^^^]

Подвыли пять голосов — то есть обнаружили пятерых волков, заставив их отозваться на подражание голосом волчьему вою.

[^^^]

...поле берем... — то есть охотимся, травим зверя собаками.

[^^^]

...с первой угонки... — то есть сразу, после первой попытки настиг зверя, догнал его.

[^^^]

...вложился... — пошел по следу.

[^^^]

Подозренный — подсмотренный, подстере-
женный зверь.

[^^^]

*...добро бы до первой угонки, а то прямо на-за-
владай... — то есть собака должна не только
нагнать зверя, но и взять его силой, схватить.*

[^^^]

Псовая — борзая русской породы.

[^^^]

...накоротке... — то есть может ловить, гнать зверя малое время на близком расстоянии.

[^^^]

Нижняя челюсть короче верхней.

[^^^]

непоимиста... — то есть не может схватить
зверя.

[^^^]

Садочный — то есть зверь, которого сначала поймали, а потом специально выпускают для тренировки, натаски собак.

[^^^]

Материк — взрослый, сильный, матерый зверь.

[^^^]

Губернский секретарь — гражданский чин 12-го класса.

[^^^]

Кавалер — награжденный орденом.

[^^^]

Стремянной — слуга-конюх, ухаживающий за верховой лошадью.

[^^^]

Борзятник — охотник, в обязанности которого входит стоять с борзыми при опушке во время ловли, охоты и подстерегать зверя.

[^^^]

Не перебрались... — то есть еще не перелинявшая, не сменившая шерсть, в разинке.

[^^^]

...из-под орла... — то есть с казенным клеймом с изображением государственного герба, иначе говоря, государственного разлива.

[^^^]

Расталке муа — выражение в так наз. «макароническом» стиле, когда смешиваются слова и формы из разных языков. «Расталке» — русский глагол «растолкать» во французской форме. «Муа» — меня (от фр. moi).

[^^^]

Гарус — род шерстяной пряжи.

[^^^]

61

Место, откуда нажимают зверя.

[^^^]

Протравил, не поймал.

[^^^]

Пастъ.

[^^^]

Помычка — подстрекать и напускать собак на зверя.

[^^^]

На подмогу.

[^^^]

Волчий хвост.

[^^^]

Лисий хвост.

[^^^]

Правящий стаею гончих собак.

[^^^]

Охотник с борзыми.

[^^^]

Нагольный — кожей наружу, не покрытый тканью.

[^^^]

Казинетовый — из полушерстяной ткани.

[^^^]

Яргак (ергак) — тулуп шерстью наружу.

[^^^]

...тротом... — рысью (от фр. trot).

[^^^]

...приемисты... — то есть хорошо принимают зверя, ловят, схватывают его.

[^^^]

Олешник — ольха.

[^^^]

Остров — небольшой, отдельно стоящий лес.

[^^^]

Арапник — длинная плеть с короткой рукояткой.

[^^^]

Порсканье — криком, хлопаньем арапника натравливать гончих на зверя и изгонять его из леса в поле, «на чистоту».

[^^^]

Притин — скрытое место, где ставится засада.

[^^^]

Свежий след.

[^^^]

...варят... — то есть гончие дружно и громко гонят зверя.

[^^^]

...подваливают... — то есть гончие набегают на след, сбегаются.

[^^^]

...повис на щипце... — то есть гончая преследует, не отрываясь, зверя непосредственно, «на щипце» («щипец» — пасть, вытянутая морда собаки).

[^^^]

...заркое... — то есть страстное, горячее, пылкое (от слова «зариться»).

[^^^]

Торока — ремешки у задней луки седла для привязывания пойманного зверя и т. д.

[^^^]

Брика — тяжелая, обычно крытая повозка.

[^^^]

Сатисфакция (лат. satisfactio — удовлетворение) — удовлетворение за оскорбление чести (обычно в форме дуэли, поединка).

[^^^]

Геснер Саломон (1730—1788) — швейцарский поэт, автор произведений, изображающих условных пастухов (образы которых во многом идут от древнегреч. идиллической поэзии и мифологии: Дафнис, Палемон) и пастушек (Меналка) в галантном стиле.

[^^^]

Ментик — короткая накидка с меховой опушкой.

[^^^]

Зеленя — озимь, поле, засеянное озимыми.

[^^^]

Мишици — мхи, участок, обильно покрытый
МХОМ.

[^^^]

Сулетошний — старый, в годах.

[^^^]

Молодой заяц, февральский или мартовик.

[^^^]

Шулить — прижимать.

[^^^]

Сажать — здесь: травить наперегонки, соревнуясь собаками.

[^^^]

Осенистая — старая, опытная собака, нескольких осеней.

[^^^]

Погодок — здесь: годовалый.

[^^^]

Редкомах — собака, которая во время гона бежит мерно, широко и не частит ногами.

[^^^]

Муруго-пегая — рыже-бурая или буро-черная, пятнистая собака.

[^^^]

Чистопсовая — чистопородная, чистокровная русская борзая.

[^^^]

Или прямостекая, то есть с ровной спиной.

[^^^]

Заскиглил — завизжал, заскулил.

[^^^]

Густопсовая — чистопородная собака с густой шерстью.

[^^^]

Статъи собаки.

[^^^]

Спина с овалом.

[^^^]

Подуздоват — нижняя челюсть короче верхней.

[^^^]

Проточина — здесь: белая полоска.

[^^^]

...не опсовел... — то есть еще не покрылся достаточно густой (по породе) шерстью.

[^^^]

Мшарник — участок, поросший мхом.

[^^^]

Мочевинник — заболоченный участок.

[^^^]

Задние ноги.

[^^^]

Однажды навсегда прошу извинения у моих читателей за те выражения, которых я обязан придерживаться при описании подобных сцен и в разговорах между охотниками. Язык охотничий испещрен множеством таких слов и оборотов, которые могут казаться правильными и понятными только для одних охотников. Как передать, например, не изменяя смысла и не умаляя силы, выражения повис на щипце, заложился по русаку, заяц начал отростать и тысячи подобных терминов? В другом случае, избегая их и выражаясь языком книжным, я рискую подвергнуться нареканию у специалистов дела и заслужить справедливый от них упрек в непонимании предмета.

[^^^]

...воззрился... — то есть увидел зверя.

[^^^]

...отрос... — то есть оторвался от преследующих собак, выпал из их поля зрения.

[^^^]

Отгокать — отгонять собак хлопаньем арапника.

[^^^]

Отпазончить — то есть отрезать задние лапки. Их отдают тут же поймавшей зайца собаке.

[^^^]

Привязать к седлу.

[^^^]

...не жомини, не щелкопер... — то есть не пустой, легкомысленный человек. Имя французского историка наполеоновских войн Антуана Анри Жомини (1779—1869) со времен «Песни старого гусара» Д.В. Давыдова (1817) нередко употребляется в значении: говорить обо всем, но ничего о самом главном. «Щелкопер» (по Далю) — писец, писарь в суде, приказный, чиновник по письмоводству, пустой похвальбишка и обирала.

[^^^]

Кунак — друг, приятель, побратим (по обычаю куначества у кавказских горцев).

[^^^]

Супоросная свинья — беременная.

[^^^]

Ком-гир! — Иди сюда! (от нем. komm her).

[^^^]

Тей — чай (искаж. нем. tee).

[^^^]

Капот — род халата.

[^^^]

Полутерно — ткань из козьего пуха и шерсти.

[^^^]

Книксен — почтительное приседание, форма женского приветствия.

[^^^]

На акот — искаж. «на охоту».

[^^^]

Карлсруэ — город в Южной Германии.

[^^^]

Архалук — род короткого кафтана.

[^^^]

Клюшник (ключник) — слуга, ведающий продовольственными запасами.

[^^^]

Китайчатые — из хлопчатобумажной ткани.

[^^^]

Тупейный гребешок — редкий гребешок (от «тупея» — прически в виде взбитого хохла на голове).

[^^^]

*А мусье ле конт... Же ву ле фелисит авек дю
дъен э-тре гран плезир... — Господин граф... С
большим удовольствием поздравляю Вас с
этим обстоятельством (искаж. фр. Je vous le
felicite avec du bien et tres grand plaisir).*

[^^^]

Тужур пердри — всегда одно и то же (искаж. фр. *toujours perdrix* — букв, «всегда куропатка»).

[^^^]

Чайльд-Гарольд — то есть подобно во всем разочарованному герою поэмы английского поэта Дж.Н.Г. Байрона (1788—1824) «Паломничество Чайльд Гарольда» (1818).

[^^^]

Малек-Адель — персонаж романа французской писательницы Мари Софи Ристо Коттен (1770—1807) «Матильда» (1805).

[^^^]

...*Ву зет мейне либе фрау* — вы есть моя дорогая госпожа (искаж. фр. *vous etez* и нем. *meine liebe frau*).

[^^^]

Сетюньом де комильфо — это человек порядочный (искаж. фр. *Cet un homme de comme il faut*).

[^^^]

Бон нюи — спокойной ночи (от фр. *bonne nuit*).

[^^^]

Стрепет — птица семейства дроф.

[^^^]

Печный — здесь: заботливый, бережливый.

[^^^]

Пятифунтовая — весящая около 2 кг (фунт — 0,4 кг).

[^^^]

Нанка — хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи.

[^^^]

Однoдворец — владелец небольшого участка земли, государственный крестьянин, происходящий из низшего разряда служилых людей или из дворянских детей.

[^^^]

Корнет — младший офицерский чин в кавалерии (равный подпоручику в пехоте).

[^^^]

Уланы — вид легкой кавалерия.

[^^^]

Полтора́ста десяти́н — около 150 га (десяти́на — 1,09 га).

[^^^]

Иноходь — аллюр («побежка») лошади, при котором она попеременно выносит и опускает то правые, то левые ноги.

[^^^]

Черкеска — узкий длинный кафтан без ворота, в талию, со сборками, по сторонам груди нашиты газыри — кожаные гнезда для патронов.

[^^^]

Цунятники — владельцы негодных, непородистых собак — «цунек», «полуборзиков».

[^^^]

Новохоперские места — под Новохоперском — городом в Воронежской губернии на реке Хопер (ныне райцентр Воронежской области).

[^^^]

Стоять на крови — заниматься ловлей, охотой.

[^^^]

Затек — подкожный разлив крови, багровый синяк, один из признаков острого инфекционного заболевания у животных — чумы (чумки).

[^^^]

Метать гончих (в остров) — запускать гончих собак в небольшой, отдельно стоящий лес, чтобы они нашли и выгнали зверя на опушку, «на чистоту», где его берут, схватывают борзые собаки и охотники.

[^^^]

...слышим, рог, другой... — сигнал, который подает ловчий, что гончие погнажи зверя.

[^^^]

Гуменщик — сторож, смотритель при гумне (помещении для сжатого хлеба).

[^^^]

Хлопунец — охотник, который охотится без гончих (обычно на лошади), поднимая зверя криком и «на хлопки» (арапника).

[^^^]

Чичер — резкий, холодный осенний ветер с дождем или со снегом.

[^^^]

Кровная собака — хороших кровей, породистая, чистокровная.

[^^^]

Псарских — то есть взрослых собак, находящихся под присмотром псарей на псарне.

[^^^]

Половопегий — палевый, бледно-желтоватый
в белых пятнах.

[^^^]

Аршин в наклоне — то есть около 0,7 м (рост собак измеряется по линии передних ног до холки).

[^^^]

Тринадцати вершков — около 57 см (вершок — 4,4 см).

[^^^]

Серопегий — серый в пятнах.

[^^^]

Кипень — белая пена, образующаяся при кипении.

[^^^]

Чернопегий — черный в пятнах.

[^^^]

Братъ поле — охотиться с собаками.

[^^^]

...место крепкое, уйма, разлетистое... — то есть труднодоступное для собак, но окруженное просторным лугом, где собака может разогнаться («разлететься») в погоне за зверем и, не удержавшись, разбиться о какое-нибудь препятствие (дерево, пень и т. п.). См., например, в главе V рассказ Феопена о гибели Дорогого.

[^^^]

Переярок — здесь: волк, переживший пору
течки.

[^^^]

Тенета — сети для ловли зверей.

[^^^]

Соры — здесь: низины, порой заболоченные, поросшие камышом, иногда кустарником и т. д. См. также описание сор в начале главы IX.

[^^^]

...зверь *не в рыску*... — то есть зверя трудно обнаружить, так как он еще не рыскает (оставляя повсюду следы) в поисках добычи.

[^^^]

Обапол — кругом, вокруг.

[^^^]

Между охотниками настоящими это правило должно быть соблюдаемо в точности и лежать на ответственности ловчих, потому что нет ничего легче привить чуму, как неосмотрительным общением с чужой неизвестной охотой.

[^^^]

Запарка — собачий корм, обданный кипятком.

[^^^]

Несомкнутая — то есть без привязи.

[^^^]

Урядовое — заурядное, обычное.

[^^^]

Арлекин — порода собак-ищеек.

[^^^]

Соловый киргиз — лошадь степной породы желтоватой масти с светлыми хвостом и гривой.

[^^^]

Intermedio(ит.) — небольшая вставная пьеса.

[^^^]

Вязок — гибкий прут, с помощью которого соединяют, связывают некоторые части саней.

[^^^]

Ариадна — в греч. мифологии дочь критского царя Миноса, которая помогла афинскому герою Тесею, убившему Минотавра, выйти из лабиринта, дав ему клубок ниток: их конец был закреплен при входе («нить Ариадны»).

[^^^]

Абрек — у горцев Северного Кавказа изгнанник из рода, ведущий скитальческую или разбойничью жизнь.

[^^^]

Чистых туземных пород гончих собак, между охотниками, в России признается две: первая польская, тяжелая — ружейная, и порода паратая, то есть быстро, «на всех духах» гоняющая зверя. Наилучшею признается порода так называемых костромских зверогонов, употребляемых исключительно под борзыми; но между этими двумя породами есть пропасть вариаций вследствие умничанья самих охотников, посредством подмешивания английской, тумана (?), арлекина и прочих, так точно, как не понимающие дела некоторые борзятники мешают крымку и горскую сопсовой породой борзых и тем уничтожают кровных собак.

[^^^]

Гамит — шумит, лает, поднимает гам.

[^^^]

Лягавые (легавые) — порода охотничьих собак, использующаяся для охоты на пернатую дичь.

[^^^]

Камардин — то есть камердинер.

[^^^]

Мещина — *месячина* — здесь: выдаваемое (обычно пищевыми продуктами) ежемесячно дворовым слугам содержание.

[^^^]

Смычок — пара гончих собак, ошейники которых соединены цепочкой (гончие ходят на смычке, смычками, то есть по две вместе).

[^^^]

Залежи — заброшенная пашня, целина.

[^^^]

Отъемы — отъемные луга.

[^^^]

Выжлец — гончий кобель.

[^^^]

Верхочут (верхочуй) — гончая с верхним (прямо по воздуху) чутьем, в отличие от собаки с нижним чутьем, которая ищет зверя непосредственно по следу.

[^^^]

Выжловка — гончая сука.

[^^^]

Полушка — мелкая медная монета в четверть копейки.

[^^^]

Погодки выжлята — годовалые щенки гончих.

[^^^]

...идут в добор... — то есть не увлекаются случайной добычей.

[^^^]

...гонят по зрячему... — то есть с помощью не
чутья, а зрения.

[^^^]

...тверды тропе... — то есть не сбиваются, не «скалываются» со следа.

[^^^]

Петровские заговенья — последние дни мясо-еда перед петровским (летним) постом.

[^^^]

Гнездо — волчье логово.

[^^^]

Успенъе — праздується 15 августа.

[^^^]

Пощетили — то есть волки задрали скотину.

[^^^]

Опука — мяч.

[^^^]

Носогрейка — короткая трубочка.

[^^^]

Чуйка — длинный суконный кафтан.

[^^^]

Чумбур — повод уздечки, за который водят или привязывают верховую лошадь.

[^^^]

Кринолин — широкая юбка колоколом на тонких обручах.

[^^^]

Бурдастые (брудастые) — с густой шерстью около морды.

[^^^]

Вон охотники! Ах, какие волосы! Смотри, Александрии, какая прелестная...

[^^^]

Вершник — здесь: верховой.

[^^^]

Плис — хлопчатобумажная ткань с ворсом.

[^^^]

Онеры — все, что полагается, со всеми полагающимися принадлежностями.

[^^^]

Исправник — выборный глава уездной полиции.

[^^^]

Узерка — стрельба зайцев поздней осенью, но до снега, когда охотник их разыскивает («узревает») на лежке.

[^^^]

Чепыжник (чапыжник) — кустарниковая чаща.

[^^^]

Крепь — крепкое для зверя, труднодоступное для охотников, глухое место.

[^^^]

Набродом — изредка.

[^^^]

...снуй основу... — то есть начинай все сначала (снова основу — прокладывать продольные, основные нити пряжи).

[^^^]

Тенетчики — люди, встречающие зверя, запутавшегося в тенетах (сетях), и либо принимающие его дубинками, либо вяжущие живьем.

[^^^]

ототрется... — то есть уйдет от собак.

[^^^]

Ржавцы — болота с застойной и ржавой водой.

[^^^]

Перелои — овраги.

[^^^]

Фризовый — из толстой, ворсистой байки.

[^^^]

Плавуны — заросшие камышом болота.

[^^^]

Сажень — около 2,1 м.

[^^^]

Мазанка — изба из глины или обмазанного глиной дерева.

[^^^]

...охлопают... — то есть спугнут зверя, стронут его с места.

[^^^]

...с нагулу, отметный... — то есть гуляющий, бродячий волк, не принадлежащий к «гнезду».

[^^^]

...снуй по заплатам... — то есть начинай («заплетай») все заново.

[^^^]

Ведренный — погожий, сухой и ясный день.

[^^^]

Черво (чрево) — живот.

[^^^]

Перетростить — смешать, сдвоить в одной
своре.

[^^^]

Тавлинка — берестяная табакерка.

[^^^]

...*кличут на ердань...* — то есть на купанье. По названию проруби (иордани, ердани), которую прорубают во льду для водосвятия на праздник крещенья (6 января).

[^^^]

Прибылой — молодой зверь последнего помета.

[^^^]

Тяпинка — тѣпка, мотыга.

[^^^]

Линейка — многоместный открытый экипаж, в котором сидят боком к направлению движения.

[^^^]

Фореитор — кучер, сидящий на передней лошади, когда они запряжены цугом (гуськом).

[^^^]

Хортые — борзые собаки с короткой и гладкой шерстью (в отличие от мохнатых псовых и густопсовых борзых).

[^^^]

Сопелка — народный инструмент вроде свирели.

[^^^]

Пикули — мелкие (огурцы, лук и т. п.) маринованные овощи.

[^^^]

Бегун — беговая лошадь.

[^^^]

Тонный — соблюдающий во всем изысканный тон, манеры.

[^^^]

Рюисдаль (Рейсдал) Якоб ван (1628 или 1629—1682) — голландский живописец, пейзажист.

[^^^]

Бопп Луис Жорж (1809—1868) — немецкий художник.

[^^^]

Полуштоф — около 0,6 л.

[^^^]

Пенник — крепкое хлебное вино.

[^^^]

Садка — травля собаками (или собакой) пойманного до этого живым зверя.

[^^^]

Гачи — ляшки, бедра.

[^^^]

Кустом охотники называют или небольшой отъемный лесок, стоящий на глади, среди поля, или небольшую лозниковую заросль с кочками, место, удобное для лежки зайцам и для прочего.

[^^^]

Омет — сложенная большой кучей солома.

[^^^]

Пампы — равнинные области Южной Америки.

[^^^]

Буэнос-Айрес — столица Аргентины.

[^^^]

Херсон — город-порт в устье Днепра.

[^^^]

Дудак — степная птица рода дроф.

[^^^]

Погалдить — пошуметь.

[^^^]

Фирман — указ восточных властителей (шахов, султанов и т. д.).

[^^^]

Какая-нибудь западня (*фр.*).

[^^^]

...под красную шапку... — то есть в солдаты.

[^^^]

Роменский — сорт нюхательного табака.

[^^^]

Туразить — гонять, ловить, травить с шумом, криком.

[^^^]

Выкунял — то есть выдремал, получил, не ведая как и почему.

[^^^]

Шина — здесь: железный обруч, набитый на обод колеса.

[^^^]

Целковый — разговорное название металлического рубля.

[^^^]

Сурок в выделке называется котиком. Шкурка его употребляется на оторочку овчинных тулупов и дубленых полушубков и ценится очень дорого.

[^^^]

Сликовать — сложить лицом к лицу.

[^^^]

Сурчина — сурочья нора.

[^^^]

Контрибуция — денежная выплата, налагаемая победителем на побежденного.

[^^^]

Атукать — травить, кричать «ату».

[^^^]

Стракулист — прозвище приказного, канцелярского служителя.

[^^^]

Прасол — оптовый скупщик скота и различных припасов (обычно рыбы, мяса и т. п.) для перепродажи.

[^^^]

Кушак — широкий пояс.

[^^^]

Скучат — скучают.

[^^^]

Полазистая — проворная, требующая сметливости и изворотливости.

[^^^]

Кстати было бы при этом осведомиться также, почему он, минуя все нарицательные, величает бирюка Тимофеичем, а лису Патрикевной? Пришло кому-нибудь в голову назвать медведя — Мишкой, кота — Васькой и т. д.

[^^^]

Подбуженная — то есть поднятая собаками.

[^^^]

Скрала след — то есть сбила со следа собак.

[^^^]

Понорилась — скрылась, ушла в нору.

[^^^]

Отнорки — боковые норы, ответвляющиеся от основной.

[^^^]

Мышковать — ловить мышей.

[^^^]

Чухонские — по названию эстонцев, а также карело-финских жителей окрестностей Петербурга.

[^^^]

Отслушивая — то есть сбивая со следа («слу-
ха»).

[^^^]

Садок — помещение, клетка для содержания и разведения животных.

[^^^]

...лисица — пала, собаки скололись... — то есть лисица неожиданно метнулась в сторону и припала к земле, затаилась, а борзые «пронеслись», «разметались» и «скололись» со следа.

[^^^]

Лоски — лощины.

[^^^]

У псовых охотников, занимающихся травлей волков, в ручку арапника вплетена полуфунтовая свинцовая гирька, которую они, взяв за наконечник, машут на скаку и стараются попасть зверя по голове; одним ловким ударом волка можно ошеломить.

[^^^]

Все охотники утверждают, и я совершенно согласен с тем, что голодного волка травить в угон невозможно. Сила скачка и широта его размаха так велики, что ни одна из борзых, как бы ни была она резва, не в состоянии на скаку не только достичь, но даже приблизиться к утекающему зверю.

[^^^]

Гривна — десятикопеечная монета.

[^^^]

Песня эта очень длинна. Особенно если запевало обладает даром импровизации, он к началу ее прибавляет от себя несколько новых куплетов, которыми восхваляет действительный или вымышленный подвиг какой-нибудь удалой собаки в охоте.

[^^^]

Гарус — мягкая крученая шерстяная пряжа.

[^^^]

Коты — род полусапожек.

[^^^]

Хореический размер — стихотворный размер (двусложная стопа с ударением на первом слоге).

[^^^]

Чернотроп — путь осенними холодами, до
снега.

[^^^]

Под хлопунцов определяются самые смелые и смирной приездкой лошади.

[^^^]

Лисицу, как бы она ни была помята собаками, вначале добивают и туго приторачивают за глотку; пристегнутая на мертвой петле к луке, она не может ожить и движением своим напугать лошадь. От несоблюдения этого правила случалось много несчастий с охотниками.

[^^^]

Заводные — здесь: запасные.

[^^^]

Бежкие — быстрые.

[^^^]

Береженный лес — заповедник, оберегаемый лес.

[^^^]

Колоть — мерзлая грязь по дороге.

[^^^]

Огляженный — подозренный, выслеженный зверь.

[^^^]

Мелкотравчатыми, на охотничьем языке, называются те охотники, которые держат не более десяти собак и охотятся с ними без гончих — на хлопки. (Эта сноска и подстрочные примечания в тексте принадлежат автору, кроме переводов с французского, сделанных В.М. Гуминским.)

[^^^]